

СЕРГЕЙ ЧЕРЕПАНОВ



ОЗЕРО СИННИХ ГАГАР

С Е Р Г Е И Ч Е Р Е П А Н О В



**ЗЕРО
СИНИХ
ГАГАР**

**УРАЛЬСКИЕ СКАЗКИ
И СКАЗЫ**

ЮЖНО-УРАЛЬСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО · ЧЕЛЯБИНСК 1971

Сергей Иванович Черепанов — член Союза советских писателей. Первые его рассказы появились в печати в конце 20-х годов.

В числе наиболее крупных работ С. И. Черепанова — «Алая радуга» (повесть о коллективизации уральской деревни) и роман о рабочем классе «Утро нового года».

Предлагаемая вниманию читателей книга «Озеро синих гагар» — третья, написанная в сказовой манере (первые две: «Лебедь-камень» и «Снежный колос»).

Сказы и сказки посвящены человеческой доброте, бескорыстию, дружбе и написаны языком человека, любящего и знающего свой уральский край.

Уральский фольклор и сказы С. И. Черепанова

1

Литературный сказ — один из популярных жанров современной советской прозы. Успешно работают в этом роде словесного творчества писатели Н. Кочин, Г. Шергин, С. Власова, Е. Пермяк, А. Смердов, С. Черепанов и многие другие. Отцом современного литературного сказа по праву называют П. П. Бажова. Однако существует ложное мнение, что названные выше писатели создают свои произведения в подражание автору знаменитой «Малахитовой шкатулки»; особенно очевидным это кажется в отношении уральских мастеров сказа. Но такая точка зрения несправедлива. П. П. Бажов, конечно, самый яркий представитель плеяды литературных сказителей. Однако это вовсе не означает, что он полностью исчерпал возможности жанра и последователям Бажова ничего больше не остается, как только подражать ему. В последнее время появилась тенденция рассматривать даже устные народные сказы как результат влияния «Малахитовой шкатулки». Все меньше и меньше говорится о фольклорных истоках «Каменного цветка», «Ермаковых лебедей», и все чаще и чаще предпринимаются попытки найти отголоски этих замечательных произведений в устных рассказах народа.

Мы не исключаем возможности влияния литературы на фольклор, в том числе и воздействия талантливых сочинений П. П. Бажова на устный сказ. Но надо не забывать указаний самого писателя на то, что он как писатель успехом своим обязан уральскому фольклору, в неиссякаемых кладовых которого им почерпнуты и главные сюжетные мотивы, и основные образы, и ни с чем не сравнимые богатства языка. Свою литературную работу выдающийся писатель сравнивал с трудом мастера-гранильщика, заставляющего искусством своим ярче сиять восхитительные дары земли — уральские самоцветы.

То, что многие авторы литературных сказов живут и работают на Урале, не случайно. Именно здесь фольклорная сказовая традиция оказалась особенно живучей и оригинальной.

Сущность сказа как особого фольклорного жанра заключается в том, что в нем реальное и фантастическое органически переплетено. При этом рассказчик, в отличие от сказочника, говорит с установкой на правду, стремясь убедить слушателя в достоверности повест-

ования. Он выводит себя либо прямым очевидцем описанного события, либо человеком, слышавшим рассказ от близких людей. Слушаешь такого рассказчика и не знаешь, что думать: действительно ли верит он во все это или только притворяется, преследуя особые художественные цели. Так, миасский горщик В. А. Лепешков доказывал, что ему однажды довелось спать, положив голову... на Полоза, которого он в сумерках принял сначала за поваленное дерево. Во время этнографической экспедиции 1966 года студенты Челябинского педагогического института слышали от старого рабочего в Башкирии, вполне грамотного человека, серьезного, сказ о горе Ирмель, которая будто бы не подпускает к себе «дурных людей». Годом раньше в Катав-Ивановске нам доказывали, что будто бы от местной церкви (сейчас в ней кинотеатр) идут подземные ходы, в которых разыгрывались когда-то драматические события, связанные с борьбой крепостных рабочих, и в которых заводчики потом спрятали огромные богатства и замуровали. Рассказы о Матке-Огневице, о богатыре Самоцвете, о Хозяйке Медной горы, о кладях Пугачева, о чудесных свойствах горных озер, о необыкновенных приключениях искателей золота и «народных заступниках» насыщают атмосферу Урала, донося до нас дыхание глубокой старины.

Сказы отличаются от преданий наличием развернутого сюжета. Кроме того, предания говорят о действительных фактах далекого прошлого, в то время как сказы повествуют о мнимых событиях, но вымыслу придает видимость реального. Предания дают ответы на вопросы: почему так называется (гора, река, озеро и т. п.)? Кто основал село, город, завод? Откуда пошло зло? Кто боролся с ним? и т. д. Рассыпанные в народе предания, иногда состоящие из двух-трех фраз, в своей совокупности воссоздают историческое прошлое данной местности. Сказы группируют разрозненные предания, сводят их в композиционно и сюжетно оформленное произведение, выполняющее уже не историко-познавательные, а художественные функции. Идут, например, два человека от Тютняр до Кыштыма. Видят у дороги камень лежит, и обращает он на себя внимание своей правильной формой — на сундук похож. И говорит один другому: «Знаешь, откуда здесь этот камень? Когда крепь* отменяли, везли мужики этот камень для памятника Демидову. А тут свой парень навстречу. «Чего, братцы, мучаетесь! — говорит. — Царь свободу объявил. Айдайте по домам». Мужики-то были приписные крестьяне Бросили они камень, да и тикать...» Этот рассказ — предание. «А я другое слышал, — возразил его спутник. — Доподлинно знаю. Этот камень «Дунькин сундук» называется. Жила в Кыштымском за-

* К р е п ь — крепостное право (просторечное слово).

воде славная девушка. Дуней звали. И уж красавица — какой свет не видел. Да и гордая тоже: цену себе девица знала. Многие за нее парни сватались. Но — где там! И близко не подпускала. Заводское начальство и то на девуку заглядывалось. Управляющий, конечно, о серьезном не помышлял. Насладился бы красотой ее черемуховой, отцвела бы — да и бросил. Боялась его Дуня, как волка. И спасалась только Самсоном. Парень такой был в заводе. Настоящего его имени никто не помнил, потому что за силу богатырскую все называли его Самсоном. Сильный был, как слон, добрый, как дитя. И любил Дуню — страсть. И она тоже к любви склонялась, да, видно, сердечко не совсем еще знало, что это такое. Да и гордость не забывай. Самсон к ней и так и сяк лепится, а она только хохочет, глазенками-черемухками сверкает, совсем парня с толку сбивая. А однажды — в шутку, всерьез ли — сказала: «Эх, Самсонушка, пошла бы я за тебя, да на что мы жить станем!» Но слова ее запали в душу парня, и решил он уйти в горы, набрать камней самоцветных, чтоб не было на свете никого богаче и нарядней его милой. Слух о том прошел по всему Уралу. Кто смеялся, а кто, зная силу парня, и задумывался. Между тем, замечай, управляющий решил на черное дело...

Дуня, позора чтобы не допустить, ушла в горы. Скоро ли, долго ли нашла там Самсонушку. Он самоцветов всяких большой сундук набрал. А Дуня и не глядит на них. «Не в богатстве счастье. Счастье — в человеке». Там, в горах, стали Самсон и Дуня мужем и женой. Летом в шалаше жили, а на зиму — куда деваться? — пошли к людям. Да зря в свой завод пошли. Их ведь беглыми посчитали. Управляющий стражников повсюду разослал: нагнать и бить, не зная жалости. А Самсон с Дуней на самоцветы понадеялись. «Откупимся, — думают. — Такого богатства свет еще не видел». Но напали на них стражники и стали избивать нещадно. Самсон, хоть и силен был, да не мог с целой ордой справиться. Заслонил собой Дуню и отбивался так, пока силы были. А когда упал, навалились на него сапраны, и больше он не поднялся. Стражники к сундуку бросились. Но что это? На его месте камень лежит. Не допустила хозяйка гор, чтоб дары ее злым людям достались. Тогда вырыли стражники могилу для Самсона. Дуню зря пытались оторвать от возлюбленного: словно приросла к нему, заплаканная и онемевшая. Так вдвоем и похоронили. А над могилой поставили камень тот — их найденное и потерянное счастье.

Этот рассказ — уже не предание, а сказ. Создаются такие произведения отдельными авторами, широкого распространения не приобретают, но местные жители любят слушать с в о и х устных рассказчиков. Старый свердловский рабочий П. П. Ермаков вспоминает, что

он и его товарищи слушали мастеров сказа целыми ночами; иногда из-за них даже на утреннюю смену опаздывали.*

Устная традиция перешла в письменную, и на ней вырастает во всем узорном народном великолепии литературный сказ.

2

Сергей Иванович Черепанов — плоть от плоти, кость от кости уралец. Вошел он в литературу из гуши народной жизни. До восемнадцати лет жил в селе Сугояк Красноармейского района Челябинской области. Известно это село красотою окрестных мест, голубым озером да искусными руками умельцев.

А еще село примечательно своими песенниками и рассказчиками. Собрются они на завалинке и заведут свои мудрые разговоры про Заманиху страшную, про заветный «снежный колос», про сову-ведунью и кольчугу чудесную, в которой можно безнаказанно мстить жестоким заводчикам, сатрапам-чиновникам.

Дух творчества Сергея Ивановича во многом определила и встреча с известным уральским фольклористом Валентином Николаевичем Серебренниковым, печатавшимся под псевдонимом «Г. Аргентов». Это был неутомимый труженик, увлеченный собиратель старинных песен, сказок, меткого народного слова. Пешком он обошел Урал, не жалея сил в поисках фольклорных жемчужин.

В один из таких переходов зимою 1929 года он сделал остановку в Челябинске, чтобы заработать средства для дальнейшего странствования. Два месяца его сотрудничества в «Челябинском рабочем» были большой литературной и устно-поэтической школой для журналиста С. И. Черепанова. «Валентин Николаевич, — вспоминает писатель, — дал мне почувствовать аромат народного языка, великолепие всего устного творчества, а главное, заставил серьезно взглянуть на мое сказывание».

Читая сказы С. И. Черепанова, чувствуешь, что их образная структура принципиально отличается от художественной традиции Бажова или близкой к нему Власовой. Объясняется это тем, что и Бажов, и Власова возвращены горнозаводским Уралом (они оба из Сысерти), а С. И. Черепанов органически усвоил и творчески использовал фольклорные краски деревенского Зауралья. Поэтому в его сказах мы не найдем ни горного батюшку, ни Хозяйку Медной горы, ни Полоза, ни Огневицу — всего того, что так характерно для поэзии уральских рабочих.

* П. П. Ермаков. Воспоминания горнорабочего. Свердловск, 1937, стр. 104.

Своеобразие С. И. Черепанова как писателя заключается в его тяготении к быличке — разновидности предания, суть которой состоит в том, что здесь в основу повествования положены народные суеверия. Старинные страхи таежных людей дают писателю пищу для создания увлекательных сюжетов, лишенных суеверного содержания и помогающих выражению определенной поэтической идеи. Так, былички о таинственной типун-траве, дурманящей человека, под пером Черепанова превращаются в сказ о дружбе и верности; образ «типун-травы» символизирует силы, которые стремятся разрушить связь между людьми, их доверие друг к другу. Это же можно сказать про Заманиху — уральский вариант Лешего. В сказе С. И. Черепанова «Дедушкина песня» Заманиха действует, как во всех суеверных рассказах и толках: она заманивает человека в лес, и он уже не может выбраться оттуда; она прячется за березой, пеньком, быстро перемещается, оставаясь не видимой для человека; она имеет колдовскую силу, но только по ночам, — при первом луче солнца становится жалкой «бабенкой», способной напроказить, но не натворить беды. Однако все это служит писателю художественным средством для выражения мысли о творческих силах человека, могущего в единоборстве с самыми таинственными силами выйти победителем.

Деревенские фольклорные традиции определили собою и другую особенность манеры С. И. Черепанова. Большое место занимают сказочные персонажи и сказочные сюжеты. Некоторые произведения, включенные в сборник, — это явные сказки: «Таловая дуда», «Снежный колос», «Весенушка», «Серебристая шкурка». Волшебный вымысел здесь не выдается за реальность, но в облике и поступках фантастических персонажей угадывается правда жизни. Как говорится в народном изречении: «Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».

Язык сказов и сказок С. И. Черепанова по-народному выразителен и точен. Вот как просто и образно нарисована картина ночи: «Месяц из-за тучки выглянул, положил вдоль речки шелковый половник» («Голос большого колокола»). Характер сельского богатыря ясен из одного определения: «Поглядит этак на тебя свысока, как по гвоздю молотком ударит» («Про комиссара и белую птицу»).

Очень удачно найдена художественная деталь в сказе «Кострище у Зеленого лога» для изображения жадности кулака Овсея Поликарповича. Он «сахар из сахарницы брал не ложкой, а шилом. Сначала лизнет шило, потом макнет его в сахарницу, сколько сахаринок прильнет, то и довольно».

Идейно-тематическое содержание сказов С. И. Черепанова разнообразно. Здесь и повествования о далеком прошлом, о вековой борьбе уральских крестьян с местными помещиками, заводчиками и

баями («Озеро синих гагар», «Кострище у Зеленого лога»), и рассказы о годах не столь отдаленных — о гражданской войне («Про комиссара и белую птицу»); о преобразении природы нашими отцами («Тимошкин сад») и т. п.

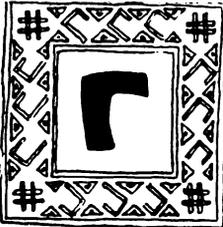
Дорогие сердцу писателя герои — это умельцы, люди, умеющие шить необыкновенной красоты одежду («Дедушкина песня»), тачать волшебные сапоги («Мастер Еремей»), выращивать сады там, где их, казалось, раньше и быть не могло («Тимошкин сад»), создавать такие сорта пшеницы, один колос которой способен насытить огромный город («Снежный колос»)... И суть здесь не в том, чтобы нагромоздить один вымысел на другой и представить мечту в виде конкретного сказочного образа: хорошо бы иметь вечно цветущий сад — пожалуйста, хорошо бы вырастить колос, заменяющий собою гектары хлебов, — пожалуйста. В сказах С. И. Черепанова вся эта фантастика служит поэтизацией лучших качеств человека-труженика: его ума, сноровки, доброты, честности, чувства товарищества. И нет ничего удивительного в том, что порою самая, казалось бы, несбыточная фантастика оборачивается реальной действительностью.

«Еще в детстве слышал я,— говорит Сергей Иванович,— от наших деревенских стариков мечту о плодовых и ягодных садах. В нашем селе Сугояк никто и никогда даже не пытался посадить хотя бы одну яблоню и вырастить ее. Яблоки, как дорогое и редкое угощение, привозили иногда из города. Даже еще в 1958 году, когда я писал сказку «Тимошкин сад», в которой выразил мечту о создании сада для всех, в Сугояке только у двух-трех жителей появились в палисадниках плодовые деревья. А вот в августе 1969 года был я снова в селе и ходил уже по огромному саду, раскинувшемуся на многих гектарах земли и почти на том месте, которое указано в сказке».

Предлагаемый вниманию читателей сборник С. И. Черепанова «Озеро синих гагар» третий по счету. Первый вышел из печати в 1959 году под названием «Лебедь-камень», другой — «Снежный колос» — в 1964. И каждая последующая книга свидетельствует о растущем мастерстве писателя, о последовательном укрощении им строптивого, но прекрасного жанра.

А. Л а з а р е в

Озеро синих гагар



агары-то всегда черным-черны. Только у нас на озере встречаются они с синим подкрылком. И поглядишь ведь на них не всякий раз. Надо время выждать. Как почнут они при сумерках полоскаться на плесе, то и притаись, да успевай замечать. Вот у одной под крылышками огонек синий пыхнул. Вот у другой. И вдруг все озеро засветилось.

Но пугать или трогать гагар нельзя. Ежели ружье с тобой, то отложи его в сторону.

По то и нельзя, что гагары-то эти Зоряне принадлежат. А сама она с нашими местами давно породнилась. Сюда как к себе домой прибегает.

Ты погляди: ведь дивные у нас места! Озеро, как блюдо, водой налитое. Лес его со всех сторон обступил. Сбежались развесистые березы, осины-шептуньи, да ольха и краснотал, — любят себя на себя с утра до ночи. Вода тут тихая, редко иной ветер проберется, но и то лишь верховой. Набушует, нашумится в вершинах, потом кинется вниз, мелкой рябью воду осыплет и уляжется отдыхать. Возле берега вода повсюду незамутненная, нет в ней ни телореза, ни мхов. Заслонили ее березы и осины, опутали тенями. И застоино, свежо в тени-то. Лишь в жаркий полдень пробьется сюда солнечный клубок, покатается на песке, нечаянно сунется в пенный прибой и загаснет.

Этак вот широко-широко открыл бы глаза свои и все смотрел бы, смотрел вокруг: на озеро, на леса, на угорки, на прогалки и вырубки, на луга и еланки. И все думал бы об этом! И все радовался бы! Ведь ежели у тебя душа теплая, отзывчивая на красоту, да коли не холодными руками трогаешь ты пахучий лист березы, или подламываешь и кладешь в корзинку груздь, или разминаешь в ладонях сорванный на лугу душистый колосок, а не то окунешься с головой в разнотравье, — что-то откроется в тебе сокровенное, и весь ты сольешься с этим земным чудом.

И ты уже не просто мужик-хлебороб, чтобы только робить на пашне и кормиться от нее, а кто-то иной, сам себе непонятный.

Впрочем, приглянулись-то Зоряне наши места не только за их красоту. А жил здесь Голуба. Хоть и давно это было. И вот тут, возле озера, началась меж ними большая любовь. Да здесь же она и закончилась. Но перед тем как попрощаться обменялись Голуба и Зоряна обручальными кольцами. А тайну об этом гагарам препоручи-

ли. Тем гагарам, у коих подкрылки синие. Чтобы от других гагар их отличить. И сказка есть. Та, что Зоряна последний раз слушала. Самая дорогая для нее сказка. О чем — про то она лишь знает. Да Голуба. Сказка в ларце лежит. А ларец тот синие гагары на дно озера унесли. Когда Зоряна шибко соскучится, загрустит о своем милом Голубе, то гагары ларец достанут, ей в руки передадут. И оживает перед ней то время. Как живет все, чего Голуба кистью-живицей коснулся...

Был Голуба-то рослый и великий телом, так положено быть хлеборобу на богатимой нашей уральской земле. Никакая работа его не томила. Робил он завсегда всласть, только успевай поддавай. И пахал, и боронил, и сеял, и дрова рубил, и плотничал, столярничал, малярил. По проворству и умелости никто с ним из мужиков не равнялся. Любая бы невеста за счастье почла Голубу женихом назвать. Но он сам невест избегал. Даже на игрища не ходил. Зато, вместо игрищ-то, каждый вечер разводил близ озера на угоре костер да всю ночь как есть напролет сказки рассказывал.

Плывут ли, бывало, в высоком небе облака, поглядит он, Голуба, на них, и уже сказка готова. Нет, это-де не облака там, не ветер их гонит куда-то, а то летят стайей лебеди над морем-океаном, они перекликаются в вышине, потом где-то над каменными горами опустятся, ударятся об скалы, и это уже не лебеди, но какие-то птицы неведомые.

К слову сказать, звали-то его доподлинно и числился он по деревенской поселенной книге Наум Кокурин. А Голуба — это прозвище, как, к примеру, были прозвища у других мужиков: Кулезень, Зелена шапка, Рябушка,— кои для различья, кои для шутки, а кои просто так. Ну, что такое «кулезень»? Может, кто-то в роду вместо «селезень» выговаривал «кулезень», а вот пристало оно, прозвище-то, и висит, как метелка ковыля на калитке. Пойди-ко, бывало, спроси: «А где тут Наум Кокурин живет?» Тотчас любой призадумается: «Это какой же Наум-то?». А добавь: «Да Голуба Наум». И сразу ответ получишь: «А-а, Голуба-то! Да звон тут за поворотом, на усторонке у озера».

Пристало же к Науму такое прозвище потому, что любимое у него это было обращение к людям — «голуба». С мужиком ли на улице повстречается: «Что, голуба, в добром ли здравии?». С бабой ли заговорит: «Что, голуба, много ли за зиму холстов наткала?». Не то на шу арду*, парнишек, зовет: «Эй, вы, голубы! Ужо, как свечерет, айдате ко мне, костер жечь!»

Ведь вот, бывало, еле сумерек дождешься, поскорее поужинаешь

* А р да — озорники, шалуны.

да кусок калача за пазуху сунешь про запас и летишь-бежишь, чтобы у костра поближе к Голубе место занять.

Лишь старики ворчали:

— Неспроста это. Сказки-то Голуба придумывает. Завороженной и мудреной он души человек.

А кабы спросить, то и слушать было бы нечего. Жилось в ту пору, при царе и буржуях, мужику тяжко. Не давали они разогнуться да хоть бы краешком глаза на свет поглядеть. И потому собирались к костру не одни лишь парнишки, но и мужики, коим не спалось на полатах после дневных трудов.

Послушают сказки — вроде в другой жизни побывают.

Голуба завсегда сказывал такое, что даже во сне не снилось. Это про облака-то и неведомых птиц либо про другое подобное сказки бывали лишь для зачина. Завлекательно, а без проку. Ну, летят лебеди в поднебесье, так и пусть летят. Экое дело! Потом как разохотится Голуба, как пониток* с себя скинет и прищурится, улыбнется, то аж душа замрет. Вот-де в некотором царстве, в некотором государстве жил-был мужик. Ничего мужик не имел, ничем не владел, только и было у него, что мозоли на ладонях. И выходило так, без его мозолей хлеба в полях не родились бы, города и дворцы бы не строились, а царю и буржуям пришлось бы на ногах отопки носить, в бане не мыться, бороды не брить и нищенскую суму надевать. Значит, мужик-то с мозолями — это и есть тот человек, которому даже царь должен до земли поклон отбивать. И вот-де, порешил царь с буржуями, пока мужик их не сковырнул, в цепи его заковать. Да какую цепь ни возьмут, та мала и слаба против мужицких мозолей.

Подводил к сказкам Голуба и другую основу: про клады. Вот солнышко каждый день землю золотом осыпает. В потайных местах спрятаны богатства несметные. А как те кладовые открыть, пусть-ко люди сами подумают.

Так сказка за сказкой. Иной раз до полуночи, а не то и до вторых петухов. Уж, бывало, и огонь в костре потух, и на траву уж роса пала, заохлодило под утро, а никому уходить неохота, пока Голуба сам с чурбака не подымеется:

— Ну, голубы, уж пора!

— Да еще расскажи...

— Поди-ко, сказка ведь не подсолнух, чтобы только сидеть и лущить. По ней, по сказке-то, надо самих себя примерять. А может, когда-то наша жизнь пуще сказки разыграет...

— Кто ж ее сделает?

— А сами придем в ту жизнь и сделаем то, чего еще не было!

* Пониток — верхняя летняя одежда из овечьей шерсти.

И гребтелось * ему, чтобы жизнь-то поскорее разыграла. Поселилась бы навечно в каждом доме радость. Узнали бы люди красоту. Научились бы посреди красоты жить, понимать ее и верить: это все дело их рук!

Его мастерством многие мужицкие дворы похвастать могли. Тут изба с резными карнизами и наличниками, которые он на досуге выпиливал. Узор на узоре: то завиток, то вязь кружевная. Там возле избы высокое крыльцо с балясинами. В избах посудные шкапчики и двери у горниц в алых цветах, полатницы, изукрашенные под радугу, а в иной избе весь потолок расписан жар-птицами, золотыми колосьями, невиданными садами с плодами зрелыми. Зайдешь в избу — светлым-светло! И тягость тебе не в тягость.

У себя дома на тесовых воротах намалевал он однажды целый выводок гагар-лысух. Вроде выплыли гагары на плес, крылья приподняли и вот-вот взлетят.

Спрашивали мужики:

— Ты пошто, Голуба, гагар-то намалевал? Чего, другой птицы не нашлось?

— По то, что гагары умом мудрые и к людям доверчивые.

И в тот вечер, у костра, многое о них порассказывал. В краю-де дальнем, где ни весны, ни зимы не бывает, родились у одного барина две дочери-двойняшки. Поглядел на них барин и закричал на жену: «Ты кого мне родила? Уродов? Это что такое: телом девки черные, на головах лысины!». Ну и велел этих черных дитенков в болоте утопить. Принесла их мать к болоту, хотела кинуть, но тут подошел к ней мужик, добрый человек. «Пусть, — говорит, — поживут они у меня. Небось, в моей семье и для них кусок хлеба найдется». Так и выросли у него чернухи. Обучил он их добру, ласке, народной мудрости. И уж собирался было мужик замуж их выдавать, да в ту пору барин-то узнал, что девки-двойняшки в болоте не утоплены, и послал слуг приказ свой исполнить. Вот тогда-то и обернулись они гагарами и улетели в наши края. С вёсны до осени здесь живут, а на зиму обратно улетают с мужиком-отчимом повидаться и холода перебыть. Потом уж и другие гагары от них расплодились.

Впрочем, с той поры, как Голуба гагар у себя на тесовых воротах намалевал, стали наши деревенские замечать разные перемены. Двор Голубы к озеру ближе подвинулся. На угоре, где прежде лишь ковыль метелил, выросли вдруг медовые травы. Плесы от ряски очистились. Ночи наступили тихие. И по утрам, на рассвете, какое-то облачко начало появляться. Сам-то Голуба сразу смекнул: тут дело не просто! Надо-де подкараулить и высмотреть. Выбрал ночь потем-

* Гребтелось — очень хотелось.

нее и спрятался в кустах краснотала. К рассвету навалился было на него сон, но он водой умылся, прогнал от себя одурь. Вскоре на восходе свет забрезжил. И все шире да выше небо зарумянилось. Еще погоды немного, отсветы с неба пали на озеро, на луга и леса. Везде туман закурился. А поверх тумана легли лиловые полосы. Вся округа в предутренних сумерках потонула. Зашелестели осины. Издали кукушка прокуковала. И вот, как только кукушка-то смолкла, с озера волна на берег плеснула, прошуршала по песку, а на том месте, где гребень волны вспенился, легкое облачко появилось. Вгляделся в него Голуба и аж замер: вовсе это никакое не облачко, а босоногая девушка в платье кисейном, как невеста в подвенечном наряде. Пригожа так, глаз от нее не отведешь! По плечам косы девичьи — чисто лен голубой. Взор ясный, в нем звезды мерцают.

Взмахнула она кружевным рукавом, и тотчас брызнули с восхода первые лучи солнышка. Стрелы каленые вонзились в белое корье берез. Золотой пылью осыпало лесную прозелень, камыши и травы на прогалах. Туман сдвинулся, в низины пополз. Открылась еланка на опушке подлеска. Под угорком солнечным лучом куст шипиги пронзило, каждую веточку хрустальной паутинкой опутало. На шипиге чашечки, до краев росой налитые. Подбежала к ним девушка, росу из чашечек выпила, а потом на еланке набрала полные пригоршни спелой ягоды-землянички, размахнулась и кинула их в небо, эвон туда, на восход. И еще раз рукавом-то взмахнула. Да в ладошки прихлопнула. Враз налетели откуда-то метляки. У каждого метляка на крылышках колокольчики. Махает он крылышками, а колокольчики-то звенят...

Девушка им молвила:

— Ну-ко, вы, Зоревые Побудки, за свое дело принимайтесь!

Разлетелись от нее метляки во все стороны. И вот уже из-под трав комары-кусаки выбрались, забунчали. Появилась на мелкодонье серая цапля. Птицы из гнезд поднялись. Куда ни глянь, куда ухо ни обрати, — везде все живое проснулось и принялось кормиться, робить и петь. И в деревне тоже. С берега стало слышно, как где-то за скрипел колодезный журавель, заиграл пастуший рожок.

Улыбнулась девушка, повернулась в сторону деревни, слегка поклонилась:

— Я Зоряна, и слово мое верно. Кланяюсь вам, люди, за труды ваши. День наступит — проведите его с веселым сердцем. Добра вам и удачи! Кто поле пахать поедет, тому борозды пусть лягут без огрехов. Кто холсты стирать, тому мыло в корыто. Кто по ягоды в лес, тому корзинки ягод доверху.

Голуба-то лишь подумать успел: «Экая ты, Зоряна, милая, и как сердцем-то к нам, людям, близка! Не забыть мне тебя теперь...»

Тут Зоряна подошла к красноталу, раздвинула его, и стал перед ней Голуба лицом к лицу.

— А ты чего, молодец, дожидаясь?

— Выследить хотел, кто у нас тут чудо творит...

— Это я. Довелось и мне твою сказку про гагар послушать. И то, чего ты на тесовых воротах намалевал, мне полюбились. Но пуще всего на свете ты сам полюбился. До нынешней поры я только и знала по земле со своими Зоревыми Побудками бегать, и невдомек мне было, что есть и другие радости.

Вывела она его на угор, приподнялась на цыпочки и обняла.

— Дорогой ты мне человек! И пошто я деревенской девушкой не уродилась? Жила бы рядом с тобой, в делах бы твоих помогала.

Тогда и Голуба осмелел, ее, как пушинку, на руки взял:

— А ты останься со мной!

— Рада бы, но не могу,— сказала Зоряна.— Я и так уж с тобой тут замешкалась.

— Так дай хоть на тебя наглядеться!

— Что люди скажут, коли я к ним запоздаю?

— За любовь простят.

Зарумянилась Зоряна, а все же отстранилась от него:

— Не могу!..

И упорхнула. Белым облачком. А когда за дальними лесами скрылась, то и солнышко из-за угора выглянуло, день наступил.

Уж так-то хорошо было в тот день Голубе! Небось, не нашлось бы на земле более счастливого, чем он. Работа у него спорилась вдвойне. За одну упряжь пары вспахал. После полудня зарод * сена сметал да еще на берегу, на том месте, где с Зоряной повстречался, деревянную беседку построил, размалевал ее радужными красками всяко, чтобы тут Зоряна гостить могла. А лавки в беседке сделал резные, на ножках точеных.

Этим даже Зоряну удивил. На другое-то утро поторопилась она к нему, прежде времени прибежала, еле рассвет начался.

Присела на лавку, огляделась.

— Вот ты какой, Голуба! На всякое дело мастер: сказки сказывать, малевать, да еще и экую красоту творить!

— Только одно не могу,— сказал Голуба в ответ,— чтобы сказки мои и творения мои оживали.

— Да нужно ли это? — спросила Зоряна.

— Чем людям, как теперича, на нужду смотреть, любовались бы они завсегда дворцами белокаменными, лесами и полями ухоженными, богатствами, из подземных кладовых добытыми...

* З а р о д — стог.



Подумала Зоряна, головой кивнула:

— Ну, ладно! Дивный ты человек и мастер, Голуба, и за то принесу я тебе кисть-живицу...

Но приспело ей время бежать дальше, и про кисть-живицу доказать не довелось.

А потом неделю Зоряна не показывалась: погода держалась морошливая. Со стороны каменных гор постоянно грозовые тучи накатывались. Гром громыхал. Молнии сверкали.

Наконец, явилась она. По праздничному наряженная: в лазоревом платье, в обутках * серебряных, в полушалке заморском.

Подала Голубе кисточку колонковую на деревянном черенке.

— Вот тебе, милый мой, и подарок обещанный.

Повертел эту кисточку Голуба туда-сюда, усмехнулся:

— У меня таких-то кисточек две дюжины есть.

— Да ты попробуй ее!

Мазнул Голуба этой кистью по стене беседки, где прежде разные полевые цветы были намалеваны, а цветы сразу ожили, как только что их с елани сорвали. И духом медовым беседка наполнилась. А потом, подошел Голуба к своим тесовым воротам, взмахнул кистью, и в тот же миг гагары-то, птицы мудрые, с воротниц снялись, загомонили, под крылами у них синие огоньки пыхнули. Облетели гагары круг над озером, пополоскались водой на плесе, и Зоряна их к себе позвала.

— Будете тут на озере гнездоваться, а когда надо, я вас позову.

В то утро обручилась Зоряна с Голубой, кольцами поменялась.

А с тех пор и пошла про него молва по округе: чего он кистью-живицей коснется, то оживает. На сухостойной березе появляется зелень. На суглинистой пашне, куда, бывало, зерно-то хоть сей, хоть не сей, вдруг такой богатимый хлеб народится, что и на чистом черноземе не соберешь схожего умолота.

И сказки, как наяву, виделись. Ночь темная, на берегу озера костер горит, сидит на чурбаке Голуба, рядом мужики и парнишки, а вокруг дворцы белокаменные, сады чудные, жар-птицы, люди счастливые, кои всей своей жизнью сами правят, и перед ними кладовые открыты с золотом, с камнями дорогими, на столах скатерти-самобранки разостланы, нигде ни горя, ни нужды нет. И ни царя. И ни буржуев. И ни попов. Только одни люди. Но начал Голубу волостной старшина притеснять. Погрозился за сказки в кандалы заковать и в Сибирь сослать. А поп Захар как-то про кисть-живицу прознал и захотелось ему этой кистью завладеть, чтобы деньги малевать. Попово-то брюхо из семи овчин сшито. Родись, крестись, женись, уми-

* Обутки — обувь летняя.

рай — за все попу деньгу подавай. Жадность вперед его народилась. Так и ходил поп за Голубой по пятам, ни ходу, ни проходу: отдай-де кисть, а не то худо будет. Пришлось Голубе остерегаться, в деревне стал показываться редко.

В конце лета поп-то вместе со старшиной и урядником кинулся Голубу ловить, но того и след простыл. Тогда они его двор по бревнышку раскатали. С голым местом сровняли.

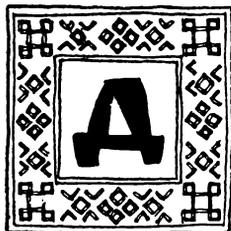
А Голуба-то весь день и ночь на озере, в камышах перебыл. Гагары его укрыли между гнезд. Так в целости, в невредимости и Зоряне на берег доставили. Только ту, последнюю сказку, которую на этом берегу Голуба Зоряне рассказывал, слушать им дозволено не было. Говорил ее Голуба тихим шепотом, лишь Зоряне на ушко. Может, то была сказка про их любовь, может, про жизнь новую, которая уже, как рассвет, в ту пору брезжила над нашей родной землей, а может, о том времени, когда люди взойдут по жизни, как на высокую гору, и оттуда, с высоты, орлами будут летать аж до самых звезд.

Потом сделал Голуба ларец, намалевал в нем изнутри то, о чем Зоряне сказывал, и гагарам отдал, чтобы унесли они ларец и на дно озера положили, пока Зоряна не спросит.

На прощанье обошел Голуба вместе с Зоряной все здешние места, ближние и дальние, лугов, еланей, лесов и подлесков, логов и ручьев кистью-живицей коснулся, и обрели эти места красоту, которая и сейчас живет, вот эту самую, что видишь ты своими глазами.

Проводила его Зоряна дальше каменных гор. И кисть-живицу он с собой унес. Творить красоту повсюду. А когда наступит красота везде, то здесь же, у озера, на угоре Зоряна его снова встретит.

Кострище у Зеленого лога



еревня раскинулась на угоре, а дальше, до леса идет зеленый лог, где меж осин скатывается в озеро холодный ручей.

Тут, на окраине деревни, как раз возле лога, осталось большое кострище. Непогодливые дожди давно уже размыли и смешали с землей золу, но торчат еще кое-где обгорелые головешки, да лежит обомшелый камень.

И сказывают люди, что каждое лето, когда в темной ночи полыхают зарницы, приходит сюда старый лось, бьет по камню копытом.

Пробовали его мужики изловить. Поставили высокую изгородь —

раскидал ее лось. Тогда в западню хотели его заманить. Он вбежал, копытом ударил, так и взялась вся западня огнем.

Вот и поселиться на месте кострища никто не может. Вокруг него даже бурьян не растет.

Ну, известно, мужики все молодые, старой нашей жизни не знают, чего там в давние-то годы бывало.

И невдомек им, конечно, что лось-то этот не просто лось и прибегает он сюда неспроста, а кострище сторожит, потому что заклято оно: тем, кто сгорел тут, — прощения нет!

А почему? Вот об этом и сказ. Где тут быть, где небыть, уж сам различай, а мое дело припомнить да слово к слову сложить...

Жили в деревне по соседству два мужика. Одного звали Овсей Поликарпыч. Навеличивали его по отцу не из-за корысти, не за ум, а просто так, ни за что. Серый был человечешко! Хозяйство имел справное, но для людей — что пень. С иным мужиком хоть на зава-линке посидеть можно, сигарку за разговором выкурить, посоветоваться, перенять от него чего-нибудь доброе, а этот, Овсей-то Поликарпыч, ни свет в окошке, ни зерно в лукошке, — бесплодная земля!

Он и в гости-то к себе никого не звал. У людей, бывало, по всей улице гулянка, — шумят, гамят, пляшут, играют после великого поста, или после вёшны, или после молотьбы, а у Овсея Поликарпыча всегда постные будни.

Ни сам, ни семья сладкой шанежки не пробовали. Без заплат одежды не нашивали. Станет его баба опару для квашни заводить, он уж тут как тут: сколько-де горсточек муки из ларя взяла? Утром баба печь затопит, почнет квашню месить, тесто на булки раскатывать, — он считает, сколь булок вышло. Дождется, как баба хлеба из печи вынет, заберет их все до единого и в ларь под замок. А сядет семья обедать, — каждому по меряному ломтю: хочешь ешь, хочешь гляди.

Сахар из сахарницы брал не ложкой, а шилом. Сначала лизнет шило, потом макнет его в сахарницу, сколько сахаринок прильнет, то и довольно.

Из-за дурости извелся: конь заморенный — мослы да ребра, а шея вытянулась, уши оттопырились на стороны. Только и украшения — борода, в оклад на грудь, староверческая.

Старики и старухи между собой перешептывались, будто злыдень Лешак его в нашу деревню подкинул — не бывало тут этаких отроду.

А вот сосед-то его, Онисим, был совсем иной человек. Свойский и добрый. Оттого и звали-то его все просто по имени. Онисим, да и все! Ну, бывало, еще для ясности добавляли: Онисим с посошком.

Уж куда бы он ни шел, чего бы ни делал, а посошок всегда рядом держал.

Кое-кого, впрочем, брало сумление: чего, дескать, Онисим-то так к посошку привязался? Это кабы совсем старый был, когда уж ноги держат плохо, там сама нужда заставляет за посошок-то держаться. А Онисим стар — не стар, но еще почти в полной силе. И вид-то у посошка шибко мудреный. Не какая-нибудь палка черемуховая, а рог лосяный, лишь малость обточенный. К этим сумлениям однажды еще и слушок добавился. Одна старуха в лес за груздями ходила и будто бы своими глазами видела, как Онисим мимо нее пробежал. Сначала бежал-то по проезжей дороге да посошком помахивал, а потом повернул в перелесок и враз в лося превратился. Встал на опушке, голову поднял и затрубил, а откуда-то издалека ему другой лось ответил.

Старухе в ту пору никто не поверил, привиделось-де старой во сне. Небось, набродилась по колкам-то, пока груздей набрала, прикорнула где-нибудь подле пенька, вздремнула, а теперича вот хорошего человека конфузит.

Онисим, кроме всего, был еще и веселого нрава. Как почнет шутками-прибаутками сыпать, выдумки-выкомурки представлять, не за-снешь, не зевнешь, а прокатится по тебе — не рассердишься. Чего же гневаться на такого, коли он моет тебя не со зла? Ведь мы, уральцы, сыздавна любим при случае подсолить, поперчить, горячим венником спину попарить, а после всего ядреным квасом угостить или медовухой.

Эх, сказывают, добрую медовуху варил Онисим! У него на увале ва озером своя пасека содержалась. Приволье вокруг. Дух сладкий, медовый. Все по увалу-то цветет, ярится. Медосборы пасека давала богатые. И уж обиходил ее Онисим пуще, чем избу. Немытый, нечесанный туда не ходил. Начнет собираться, так прежде в бане попарится, наденет белье из белой холстины. Пчела-то, дескать, хоть и насекомая мелкота, а тоже настоящее обхождение любит. Попробуй-ко, сунься на пасеку с табачищем! Потому и мед был у него завсегда без единой соринки-пылинки, сортовой, как золото плавленное. А еще владел Онисим секретом, как мед выдержать, чего добавить в него для вкуса, для крепости, для живинки.

Другие мужики тоже варили медовуху, а не та она у них получалась, что у Онисима. То, бывало, горчит, то с души воротит. Мужики иной раз досадовали: «Вот чомор* его заberi, Онисима, какой он мастер!»

Тем она была хороша, его медовуха, что пока пьешь, так будто холодный родник рядом воркует, а над лесом жаркое солнышко плавится, под ногами разнотравье пышет. С одного ковша кровь-то у те-

* Чомор — черт.

бя так и взывает. И стал ты, вроде, моложе, красивше, и все-то вокруг тебе любо до слез.

Овсей Поликарпыч сам медовухи никогда не варил, но к чужой, на даровщину, имел большое пристрастие. Вот потому, надо — не надо, похаживал к соседу Онисиму, напрашивался. Находил разные заделья да приноравливал завсегда к той поре, когда Онисим обедал. Ну, а Онисим-то жил по обычаю. В деревне нет такого заведения, чтобы сам за столом, а гость у порога. Много ли, мало ли питья и еды, а все равно проходи к столу, садись рядом с хозяином, бери ложку и ковшик, от хозяина не отставай.

Сколь ни были они разные, но Онисим желал Овсею Поликарпычу только добра. Из-за этого иной раз даже выговаривал ему:

— Ну, что за жизнь твоя, сусед? К чему? Забился, как червяк в репу, и думаешь, поди-ко, лучше таковского житья нету?

Хотел поворотить его лицом к настоящему положению человека. А неподатлив был на уговоры Овсей Поликарпыч.

— Да мне что? Я всем доволен...

И прожили бы они, наверно, так без ссоры до самой старости, кабы не кожух...

Этот овчинный кожух был справлен Овсею Поликарпычу еще в ту пору, когда он в женихах числился. Лет двадцать прошло. Другие мужики свои лопотины * уже много раз поменяли, а Овсей Поликарпыч злосчастный кожух ни зимой, ни летом с плеч не спускал. Овчину-то уж и покорибило, и дыра на дыре, заплата на заплате. Голимый стыд! Онисим пытался уговорить:

— Скинь же ты, сусед, этот ремок с себя! Ведь не по миру собрался...

Но тоже не помогало. Отмахнется Овсей Поликарпыч, новую заплату пришьет и снова кожух носит.

При всей своей доброте Онисим дальше уж терпеть не мог. И положил он себе: как-никак кожух изничтожить! Ведь вся деревня начала потешаться: экое-де огородное пугало!

Однажды повстречал он Овсея Поликарпыча.

— Хочу тебе загадку загадать!

Тот принял это за шутку.

— Да нет, — пояснил Онисим, — вовсе не шутка. Коли ты загадку разгадаешь, я тебе корчагу медовухи поставлю. А не разгадаешь — снимай кожух, клади на чурбак и топором поруби.

— Что ты! Не буду! — замахал было руками Овсей Поликарпыч и попятился, но мало времени погода жадность его все ж таки обуяла, соблазнился.

* Лопотина — верхняя одежда.

Предупредил, однако, Онисима:

— Ты давай по-честному, не обмишуль.

Ударили по рукам.

— Вот загадка, — сказал Онисим. — Стоят передо мной два ходила, два махала, два смотрела, одно кивало. Что такое?

У Овсея Поликарпыча аж глаза по-бараньи округлились. Думал он, думал, в затылке чесал, да в бороде ногтем скреб, а час прошел, не придумал ответа.

— Эх, ты-ы! — сказал Онисим. — На себя бы посмотрел. Ты ведь и есть это самое: ноги, руки, глаза и башка твоя дурная...

Разобиделся Овсей Поликарпыч: ты, дескать, все ж обмишулил меня, сделал с подвохом, потому как ни один даже дурачок о себе плохо помыслить не может. И кожух не отдал.

Тогда же Онисим-то еще посмеялся и пообещал:

— Ладно. Другой способ найду.

А вскоре подступила пора землю пахать под пар. Запрягли они коней в телеги, положили сабаны да припасы на неделю, чтобы безвыездно в поле работу кончить. Поехали вместе. Дорога у них попутная, у того и другого пашни были за озером, через одну межу.

Ну, путь не ближний, и Онисим-то со своей телеги перебрался к Овсею Поликарпычу, вроде покурить. А в мыслях было у него другое.

Когда из деревни выехали, докуренные сигарки кинули, он и принялся зевать:

— Скушный ты мужик, Овсей Поликарпыч! Ну-ко, хоть сказку расскажи.

Тот не то, что сказок, посказулек не знал.

— Так поиграем, что ли? — предложил Онисим.

Зашевелился Овсей Поликарпыч.

— В какую игру?

— Да хоть фуфарки * покидаем, — сказал Онисим. — Кто дальше забросит. Помнишь, как мы с тобой еще парнишками были, ты забрасывал фуфарки ловко. Не разучился еще?

— Наверно, не разучился, — повеселел Овсей Поликарпыч.

— Но только, чур, коли уж мы свои парнишечьи годы вспомнили, то давай и говорить, как парнишки. Иначе, что за игра. Бородатым мужикам фуфарками заниматься неловко.

Похохотал Овсей Поликарпыч, согласился. Набрали они из канавы глины, намяли ее, наломали с березы прутьев и принялись играть. Телеги, знай, себе катятся, погромыхивают по дороге, а два му-

* Фуфарки — катышки из сырой мятой глины.

жика по-ребячьи меж собой перекликаются и кидают фуфарки: кто дальше?

Так их игра-то разохотила, что и в поле, когда на меже коней распрягли, еще по-ребячьи меж собой переговаривались.

И ни разу ведь Овсею-то Поликарпычу в башку не пало, что за игрой какой-то замысел есть.

Пока кони на меже кормились, Онисим костер разложил, повесил на треноге казанок, начал похлебку варить. Овсей Поликарпыч под телегу залез, пологом от комаров закрылся и вскоре заснул. Насчет похлебки не позаботился: сосед сварит — угостит.

А Онисим лишь того и ждал. Едва Овсей Поликарпыч запосвистывал да захохрапывал во сне, он его драный кожух с телеги стянул, кинул в костер.

И довольнехонек (управился наконец!) начал придумывать, как дальше быть...

Сварилась похлебка. Вылез Овсей Поликарпыч из-под телеги. Спросонья, пока глаза протирали, ничего не заметил, а за ложку взялся, повел носом туда-сюда: вроде паленой шерстью припахивает. Не от похлебки ли? Повернулся к костру-то и аж позеленел. Из остатков кожуха даже варежки-шубенки не выкроишь. Рассерчал он, казанок с похлебкой ногой пнул и с поля долой.

На второй день вызвали Онисима в волостное правление. Судить мировым судом. Народу полдеревни собралось.

Вот мировой судья начал допрашивать.

— Ты пошто, Онисим, над Овсеем Поликарпычем изгаляешься? По какому праву его кожух сжег?

Онисим прикинулся простачком.

— Ничего не бывало, господин судья! Наверно, это Овсею Поликарпычу поблазило. У него ведь все не как у добрых людей...

Овсей Поликарпыч с места вскочил, заругался, начал требовать, чтобы судья заставил Онисима новый кожух вместо старого предоставить.

Так полдня судились. Овсей Поликарпыч доказывает одно, Онисим стоит на своем: поблазило-де соседу, а может, он и не в своем уме?

Потом уж, когда народ-то такой неразберихой натешился, а мировой судья от натуги взмок, Онисим повернул дело по-иному, как его с самого начала задумал.

Приподнялся со скамейки, приставил палец ко лбу:

— Вспомнил...

— Чего же ты вспомнил? — переспросил мировой.

— А то, господин судья, что действительно сгорел кожух...

— Во! Во! — обрадовался Овсей Поликарпыч. — Признаешь!

— Однако было это когда же? — спросил Онисим. — Это не тогда ли, Овсей Поликарпыч, когда мы с тобой в фуфарки играли да по-детски меж собой балаболили?

— Истинная правда! — закивал головой Овсей Поликарпыч.

— Так чего же ты лишь нынче тяжбу затеял? — укорил Онисим и будто даже обиделся: — Эка, сколь годов прошло!

Потом к мировому обратился и того заморочил:

— Прими, господин судья, во внимание, что, значит, сторел-то кожух не вчера, а когда мы парнишками были.

Ошарашил Овсея Поликарпыча. Тот хлоп-хлоп глазами — растерялся. Потом сгреб шапку да бежать, а народ-то со смеху уморился.

Так вот и завязался узел. Из-за драного кожуха!

А времена в ту пору начались смутные. Война! Германцы и австрияки поперли на русскую землю. Войной-то правили буржуи да генералы разные. Одним — слава, другим — нажива, а рабочему человеку и мужику — голимая страсть и беда. Каждый день из деревни у нас некрутов* увозили. Вырубали, можно сказать, самолучший цвет. Война-то счету не знала, как змея многоголовая, с железными зубами.

И у Онисима двор заскудел. Ростил он двух парней, утеху на старость, но попали они в некрутчину, заглотила их война, не подавилась.

Посуровел Онисим, хотя по-прежнему медовуху варил, подносил ее, кто зайдет к нему, полным ковшом, большими ломтями нарезал для угощения сотовый мед, хлеб-соль на стол ставил.

Лишь Овсей Поликарпыч ту тропинку, по которой хаживал, бывало, к Онисиму, крапивой засеял, поставил поперек ее таловый плетень.

На чужой беде стал Овсей Поликарпыч жиреть и богатеть. Вместо старой избы поставил дом крестовый с тремя горницами, к нему высокое крыльцо с баясинами, по всему карнизу кружева резные, над воротами петух железный. Коней накупил. И все по дешевке, нипочем. Разорял вдов, солдаток. Рубль-целковый одолжит, подавай ему в возврат два, не то корову за рога и гонит в свой пригон.

Больше всех опустошил он двор Крутояровых. Мстил. Сам-то Михайло Крутояров был мужик видный, толковый, посреди мужиков верховод. Поймал он однажды Овсея Поликарпыча на озере, тот из чужих сетей рыбу воровал. Так, с ведром ворованных карасей и провёл его вдоль улицы, людям на поглядение. И затаил тогда против него Овсей Поликарпыч злобу. Потом, когда война началась, забрали Михайлу в солдаты, дома осталась только Варвара с детишками

* Не к р у т ы — рекруты, солдаты-новобранцы.

малыми. Варвара-то, чтобы семью с голоду не заморить, сама пашню пахала, сама из лукошка яровые и озимь сеяла, сама хлеба серпом убирала, цепами молотила, но уж одна-то голова завсегда бедна. Не успеет еще умолот в сусек засыпать, как бегут из волостного правления десятские: плати в казну за то, за се! Вычистят под метлу! Как говорилось: царю калач, волостному старшине калач, а сам-то запах от калача нюхай, не плачь!

Вот и привела нужда-то Варвару на поклон к Овсею Поликарпычу, а уж он чуть-чуть всю семью Крутояровых по миру с сумой не пустил. Да хорошо, что Онисим вступился. Когда Овсей Поликарпыч за долги начал Варвару и ребятишек из их избы гнать, Онисим свой кошелек вынул и расплатился. К тому же с глазу на глаз пригрозил:

— Ой, худо будет тебе, Овсей Поликарпыч, ежели еще раз Крутояровых коснешься. Прежде-то я с тобой шутки шутил, а теперича не до шуток!

И посошок ему свой к бороде сунул:

— Вот это погляди!

Долго потом Овсей-то Поликарпыч опомниться не мог. Его тогда жаром обдало, и в ту же пору вдруг увидел он вместо Онисима лося матерого. Кинулся наутек, до самых ворот своего двора бежал без оглядки, а когда остановился и оглянулся, то никакого лося уже нигде не было, только Онисим стоял посередь дороги и хохотал.

«Эка! Ведь чего неправдешное может поблазнить», — подумал тогда Овсей Поликарпыч и начал было опасаться соседа, но некоторое время спустя опять осмелел, только уж зорить-то сирот и вдов ему не пришлось. Ветер стал дуть не в его сторону: власть переменялась!

Дошла до деревни добрая весточка: народ в Рассее против царя и буржуев возмутился, трон опрокинул и всем делом сам стал править. Вскоре солдаты начали вертаться домой. Пришел и Михайло Крутояров. Деревня-то будто проснулась после долгого сна, поднялась, сразу все в ее жизни закипело, закружило, завертело, заметелило. Собрались мужики и бабы на сход, из волостного правления старшину выставили, его бумаги на царские поборы сожгли, выбрали ревком. Как раз верховодил-то сходом Михайло, он на войне много хлебнул, но главное, грамотой владел борзее, чем другие мужики, Москву видал, Ленина самолично слушал. Так вот его, Михайлу-то, и поставили в ревком председателем. Ты, дескать, большевик, стало быть, становись у нас самым наибольшим.

Однако недолго пробыл ревком: пока землю наново поделили да богатеев поприжали. Году не прошло. Вдруг Колчак объявился. Все его белое войско захватило Урал и Сибирь. Началась война. Поднялся Урал против белых. По городам-по селам, по горам-по долам пуш-

ки загремели. Пришлось белякам отступать, потеснила их Красная Армия. Но, отступая, оставляли беляки за собой след кровавый. Казнили, всякую расправу чинили над каждым, кто был не их масти.

Понаехали каратели и в нашу деревню. Целым отрядом. На конях. С шашками, с карабинами. А начальником отряда был у них Барышев, в звании подпоручика. Не человек — бешеный волк.

Ревкомовцы успели в леса скрыться. Мужиков и баб, кои на сходе за ревком поднимали руки, согнал Барышев на площадь, — одним плети, другим шомпола на голые спины. Особо допытывался: где Михайло Крутояров?

Во дворах, в огородах, в гумнах каратели все обшарили, перевероршили — никого не нашли. Тогда Барышев забрал Варвару, посадил ее к Овсею Поликарпычу в кладовую под охрану и дал срок: ежелиде к такому-то числу, к такому-то часу мужики Михайлу Крутоярова не предоставят, то велю бабу живую в землю закопать!

А надоумил-то его Овсей Поликарпыч. В гости к себе зазвал, поселил в горнице и подкинул:

— Ты, ваше благородие, мужиков хоть насмерть запори, про Михайлу не скажут. Надо в обход. Жалко будет им Варвару, ведь куча сирот останется, ну и не вытерпят, выдадут, а не то сам Михайло с повинной из лесу выйдет.

Да попутно и Онисима подставил. Худой-то пес завсегда сзади кусает. А лает из подворотни. И досталось, конечно, Онисиму пуше всех. Забрали-то врасплох, он даже посошок с собой взять не успел. Целую ночь в волостном правлении, по подсказке Овсея Поликарпыча, пытал его Барышев. Где Михайло? Где партизаны? К утру отлежался Онисим, рубаху надел, штаны поправил и усмехнулся.

— Эх, горяча у тебя баня, ваше благородие! Знатно ременным венником паришь. Теперич бы медовухи испить.

— А, ты еще насмехаешься! — снова вскипел Барышев. — Али еще захотел?

— Да нет, довольно, — молвил Онисим, — больше на спине, подико, и места уж нет. Но вся причина в том, ваше благородие, что человек я смолоду веселый, хотя жизнь наша была серая и не теплая, как стертый Овсеев кожух. Но кожух-то у Овсея сгорел, а вот жизнь наша серая, выходит, сгорела не вся. Однако насчет медовухи-то я не зря ведь сказал...

Барышев насторожился. Соблазн! До медовухи был он большой охотник. Но не подвох ли? И опять же Овсей Поликарпыч под руку подвернулся, наклонился к нему, зашептал:

— Хороша у него медовуха, ваше благородие! Ты не отказывайся. Потом еще разик его выпорешь. Куда он денется?

Прикинул про себя Барышев: верно ведь, некуда мужику бежать. А может, после медовухи скорее язык развяжет? И казнить его никогда не поздно. Вместе с бабой Крутояровой можно казнить, заодно.

— Ну, что же, неси медовуху!

— Уж нет, ваше благородие, — сказал Онисим, — давай по обычаю. У Овсея Поликарпыча ты в гостях побывал, теперич ко мне милости просим. Вижу, живого ты меня не отпустишь, так желаю напоследок гульнуть, своей жизни подвести черту. Зови с собой весь отряд и Овсея Поликарпыча на придачу. У меня изба большая, двор крепкий, ворота и замки надежные. И медовухи готовой полно, и закусок, солений-варений, все, что в погребе найдется, на стол поставлю.

Веселый стал, давно его таким не видали. Будто и не пороли его, жили из него не тянули, а на самом деле дорогие гостеньки при- были.

Позрения-то все же шевелились у Барышева в душе, не бывало еще, чтобы поротый-битый в гости звал, но Овсей Поликарпыч поручился:

— Блажной он. А ничего супротив тебя не посмеет.

В ту пору он не вспомнил, небось, как Онисим предупреждал его, когда посошок-то показывал...

На всякий случай Барышев охрану поставил к кладовой Овсея Поликарпыча, где Варвара была закрыта, и на улице, у волостного правления.

Вся стая карателей заняла дом Онисима. Барышева и Овсея Поликарпыча усадил он на самое почетное место — в передний угол, под иконы, дескать, где бог, там и власть. Остальных отрядников — по лавкам, по скамейкам, кого куда. Окна ставнями закрыл. Ворота на замок. Убедил Барышева: никто с улицы не подглядит, никто лишний во двор не заглянет.

После этого Барышев-то совсем перестал сторожиться.

А кабы догадался, какую черту собирает подвести в своей жизни Онисим, то проклял бы тот час, когда в первый раз мужика плетью ударил.

Между тем Овсей Поликарпыч уже прикинуть успел, чем после казни Онисима поживится да как при Барышеве волостным старшиной станет.

Никого из карателей не обнес Онисим, всем по большому ковшу медовухи налил, а Барышеву и Овсею Поликарпычу особо — в туюса расписные.

Потом встал посреди избы, оперся на посошок.

— Хочу вам, гости, слово молвить, чтобы знали вы, что к чему...

— Говори, да поскорее,— распорядился Барышев.— Загуливать-ся-то нам у тебя недосуг.

— Не пришлось бы вам меня спрашивать и допрашивать — и на порог бы я вас к себе не пустил. Пришлые вы. Чужие. Кто знает, где родились: то ли в логове волчьем, то ли в гнезде змеином? Но не готово еще было мое веселое сердце, не вмещало жестокости, кою вы заслужили. И потому, пока вы над людьми галились, а меня пытали, молчал мой посошок...

— Ты чего мелешь, мужик? — заорал Барышев, хватаясь за шашку.

— За то меня народ не осудит,— сказал Онисим в ответ да после того и стукнул посошком по столу.

Грохнуло в избе.

Из ковшей с медовухой выплеснулся жаркий огонь.

Охватило пылем пол, потолок, стены и окна.

Никуда не выйдешь, не выскочишь...

Только на самого Онисима ни искры не упало.

А он еще раз посошком-то стукнул. И не стало его: на том месте, где стоял он, лось вздыбился, протрубил на всю мочь. И потолок сразу рухнул. И вырвался столб огня наружу, в ночное небо.

Потом люди видели, как вымахнул сквозь пламя и дым старый лось, с закинутыми назад рогами, как остановился он на обочине зеленого лога, поглядел на пожарище печальными глазами, да и побрел в лес...

Тем временем, с другого конца деревни вошел в улицу отряд красных партизан. На подворье Онисима застали партизаны лишь раскаленную золу да головешки.

Вот теперь и смекай сам: кто же он такой, тот лось-то, и зачем он на кострище приходит?

Про комиссара и белую птицу



сть же люди, которых, как песню, никогда не забудешь!

Случилось это в нашей деревне на самых первых порах при Советской власти, помнится, в двадцатом году. Перед последним летним праздником, Ильиным днем, вернулись мужики с полей, в банях с устатку попарились и собрались вечеровать на завалинке. Курили самосад, побывальщины сказывали. А потом заспорили: чего-то неладно, дескать, в деревне, тревожно? Вот

почти каждую ночь белая птица незнаемая над дворами кружит, протяжно кличет: «Ки-и-и-кл! Ки-и-и-кл!» К чему бы это? Навораживает, что ли, беду? Или предупреждает? И на полях сумление! Вёсна прошла дружная, зелень подымались густые, солнышко не палит, хлеба выколосились любо-дорого, а выходит все зря. Колосья стали зерно терять, будто пашни кем-то изурочены*.

Всяк по-своему гадал. Артем Баской доказывал, повлила-де гражданская война. Красная Армия гнала беляков от Урала в Сибирь, возле нашей деревни настигла и тут им поддала жару. Целые сутки пушки-то громыхали, снаряды рвались. Ну, понятно, землю трясло — и почву сместило.

А Саверьян Сквородка его на смех поднял.

— Не мели-ко, Артем! От пальбы только бабы пужались, в погребя прятались, а земле нипочем! Она, матушка, лишь теперь и взыграла, как народ сам хозяином стал. По моему соображению, это воспарения повинны! Где-то в горах вроде бы камень-горюч в падь опрокинулся, так болотная гнилая вода кипит...

— И ты, Саверьян, не блажи,— вмешался Герасим Чеботарь.— Я летось в каменных горах бывал, никакого там воспарения нет. Дух в сосновых борах от живицы ядреный. Скорее всего это Сиверко** по ночам налетает, холодит. Белая-то птица, небось, у себя в гнезде согреться не может, вот и жалобится людям на Сиверка, а зерно из колосков само собой выпадает.

Сидел тут на завалинке дед Мелентий, Артемов тесть. Послушал он спор и говорит:

— Конечно, без причины зерно с колосков теряться не станет. Но ежели оно выпало, то куда же девалось? Пошто его на пашне нет?

Мужики аж руками развели.

— Вот то-то же,— сказал дед Мелентий.— И выходит у вас спор пустой!

Пока мужики думали-гадали, подъехал к ним верхом на коне, в шинелке солдатской комиссар из городу, Чугунов. Поздоровался честь честью с каждым, коня разнуздал и говорит:

— Прибыл к вам, товарищи-граждане, за подмогой.

Пораздвинулись мужики на завалинке, усадили его с собой в ряд.

— Сказывай, в чем нужда?

— В городах трудящий народ голодает. Надо опосля войны-то заводы все становить заново, а кормиться нечем.

И порассказал он про заводское да про городское житье-бытье.

* Изурочить — сглазить.

** Сиверко — северный ветер.

Многие, дескать, солдаты еще на охране Рассеи службу несут, разная гидра на Советскую власть не перестает грозиться, кулачество всюду норовит нас за глотку взять, и вся-де опора только на вас, беднеющие и середняцкие мужики.

А напоследок добавил:

— Про хлеб-то Ленинское слово было. Сам Ленин велел передать: вот, дескать, вы, уральцы и сибиряки, проживаете в местах хлебных, и стали вы теперича людьми вольными, так поддержите народ рассейский, сколь хотите-можете от своих излишков-до-статков.

— Мы, что ж, мы не прочь! — ответил Герасим. — Дождемся утра, на праздник не глядя, по амбарам у себя проверим, из сусеков зерна и муки нагребем, отправим обоз.

Лишь дед Мелентий дополнил:

— Да, — говорит, — обоз надо послать беспременно и неотложно, но у нас есть и своя забота. Непорядок на полях-то, комиссар! Какая-то тайная сила, что ли, против нас гребется, урожай пакостит.

Тут все услышали, как совсем близко, над дворами, опять белая птица встревожилась: «Ки-и-и-кл! Ки-и-и-кл!» Потом пролетела над улицей в сторону Старицы и в темноте сгнула.

— Ишь, — сказал дед Мелентий, — тоже ведь не без причины кличет...

Комиссар Чугунов, хоть и бывалый человек, но своего совета подать не мог.

— Я, — говорит, — в гражданстве-то литейному делу мастер, а насчет вашей крестьянской работы не знаток. Все же, кто на полях озорует, наносит урожаю урон, надо прояснить. В этом помогу, но сначала, перво-наперво, обязан Ленинское слово исполнить! И до утра ждать недосуг!

Помозговали мужики: ведь правда, мешкать ни к чему! Разошлись по дворам, нагрузили подводы зерном и мукой, а к рассвету уж обоз снарядили.

Чугунов-то, когда обоз провожали, шапку снял, мужикам поклон отбил:

— Благодарствую вам от Советской власти за почин!

А мужицкое сердце, известно, на доброе слово почуткое! Герасим же Чеботарь и предложил: нельзя ли, мол, еще кое в чем свои хозяйства урезать, мужики, и собрать зерно на второй обоз, чтобы побольше народу накормить. Но уж как ни считали, как ни меряли, не нашлось. Тогда-то Саверьян и напомнил:

— А чего же богачи наши помалкивают? Или они не на рассейской земле проживают? И плодятся-то, небось, не в царствии не-

бесном! Уж любя или не любя им Советская власть, в том горя нам мало! Пусть раскошеляются.

Так все скопом, вместе с комиссаром Чугуновым и направились мужики по богатым дворам. Первым с краю оказался двор Федота Дормидонтыча Лагуна, он в деревне был богатеем заглавным. Домище у него на три горницы, кладовые каменные, в пригонах табуны коней и коров. А сам-то по виду — генерал! Поглядит этак на тебя свысока, как по гвоздю молотком ударит.

Долго в ворота тесовые стучались, пока в дом пробилась. Чугунов сейчас же хозяину свой мандат предъявил: так, дескать, и так, есть я с уезду продовольственный комиссар, а вот тут беднеешее население со мной, поскольку имеется до вас важный разговор.

Федот Лагун мохнатые брови вскинул, оглядел мандат, положены ли, где полагается, штемпеля и печати, потом сразу, как топором, отрубил:

— Лишков хлеба,— говорит,— у меня в сусеках нету, и мне Советская ваша власть зазря, коли своих коней кормить нечем!

Обозлил мужиков-то. Саверьян даже в лице изменился.

— Не может,— говорит,— того быть, Федот Дормидонтыч! Ты пашни захапал много с чужих наделов почти задарма. В гумне у тебя после прошлогодней молотьбы эвон сколько соломенных зародов стоят! Куда же хлеб подевал?

Так насел на него, такую правду-матку выложил, что Федот за оглоблю схватился, окрысился.

— Зашибу! Не дозволю мои прибитки ущитывать!

Пришлось их разнимать. Комиссар снова мандат вынул, вычитал из него то место, где от власти даны ему права.

Поругался, пошумел еще Федот Лагун, ну, а все же против мандата и против мужиков не устоял,— прошло старое время, когда бедность богатству в пояс кланялась! Начал кладовые показывать.

Мужики просто диву дались: верно ведь, в кладовых и амбарах пусто, еле-еле самим хозяевам на пропитание до нового урожая зерна хватило бы.

Зато комиссар Чугунов, не глядя, что пришлый, сразу сообразил:

— Ты,— говорит,— Федот Дормидонтыч, не туда нас привел. Сведи-ко к ямам, где запасы зерна скрыты.

Федот взъярился пуще прежнего.

— Ищите,— кричит,— коли найдете!..

Пришлось искать. Оследовали в его дворе мужики все пригоны и погребя, сеновалы и завозни, выволокли из тайных ям тыщу пу-

дов отвешной на ветру пшеницы и в ту же пору снарядили в город сразу три обоза.

А ночью опять белая птица над дворами летала, не спалось мужикам, смутное и тревожное что-то было в ее позывах.

Утром по деревне разнеслось: Саверьян из ружья застрелен!

Приключилось-то вот как. Саверьян помог найденный в ямах хлеб погрузить на подводы и вернулся домой уже после вторых петухов, перед восходом зари. Его баба, Лукерья, лампу вздула, подала на стол квасу. Только Саверьян-то на лавку у окошка присел, хотел кваском освежиться, тут в него и бабахнуло.

Кто сделал — темнота скрыла, но всем и каждому в деревне пало на ум: кроме Федота Лагуна некому.

Дворовые ворота у него оказались запертыми на замок, собаки с цепей спущены, сам из деревни скрылся.

После убегая Федота на мужицких полях начался уж совсем явный разбой и воровство. Кто-то мало того, что колосья шелушил, выбирал из них зерна, а еще и губил хлеба на корню.

Дед Мелентий после отправки обоза нарочито в поле ночевал и мужикам доложил:

— Насчет Сиверка зря мы судачили. В полночь и за полночь, хоть небо и вызвездилось, а лес спал, Сиверко никого не тревожил, и дух от земли шел сытный. Значит, не от природы урон. Это кому-то охота нас голодом заморить!

Кому же? Вот заковыка! Ежели тот же Федот Лагун варначит, то как? Кто ему помогает? Ведь будь у него хоть десять рук, десять ног, все равно он всех полей один не обежит, из конца в конец двадцать-то верст. Да и колоски, по всему видать, кто-то шелушит не ладонями: не мнет их, не давит.

Но, все ж таки, на нем и остановились.

И опять заковыка! Где же на его след набредешь? То ли он в Урал ушел, то ли в Сибирь подался, то ли близ деревни укрывался?

Да к стати Артем Баской надоумил: надо-де комиссара Чугунова позвать. Как-никак, в прошлый раз сам он посулился помогать-то! Человек он свойский, а не то, чтобы только требовать: дай! Мужичья нужда — это, вроде, и его нужда. К тому же, дескать, глаза у него шибко пронзительные, эвон как он припрятанный у Федота Дормидонтыча хлеб доглядел.

И Герасим Чеботарь подтвердил:

— Верно,— говорит,— мужики, я с Артемом согласный! У комиссара один глаз даже наособицу. Когда у Федота хлеб искали, то комиссар Чугунов правый глаз вынимал и белой тряпочкой протирал, чтобы глубже видеть. Может, этот глаз ему нарочно

был даден против обмана и колдовства. Ему, комиссару-то, скорее пофартит, ни в дали, ни в глуби он, небось, ничего не пропустит.

В тот день комиссар Чугунов опять в деревню прибыл. Дождались мужики, пока он в сельсовете с делами продрозверстки управится, и намекнули: не забыл ли, мол, свое обещание? Ведь на полях-то совсем худо стало!

Чугунов даже пообиделся.

— Я,— говорит,— не приучен словами кидаться! Самое теперича время все прояснить: откуда урон? Какие Федот Лагун супротив вас козни строит и затевает?

Отрядили с ним мужики Артема Баского и Герасима Чеботаря, дали наказ: ночь не спать, ног не жалеть! Оба мужика были рисковые, под стать комиссару, иди с ними хоть на край света.

Еще засветло добрались они до Старицы. Тут когда-то протекала река, но на мелководье много черноталу и ольшаника наросло, мхом заводи затянуло, намыло песку, потому река повернула в низины, проложила себе новое русло.

По овражкам Старицы дикость и глухота, никаких угодий, даже травы оставались некошенными. А в одиночку заходить было боязно. То на волчье логово невзначай натакаешься, то лиса перед тобой хвостом след заметет, то хорь черногрудый проскочит, то филин сослепу с тебя шапку собьет.

Зато подле Старицы, меж березовыми колками, самые богатые хлеба нарождались. И урон-то больше всего происходил на здешних пашнях.

Покурили мужики на угорке возле Старицы, мнениями перекинулись, потом комиссар отослал Артема вправо, а Герасима влево, в обход, чтобы, значит, взять все место в кольцо и насквозь. Псыянил им:

— Ежели злодей-варнак повстречается и один на один с ним не справитесь, то знак подайте...

Сам он спустился с угорка в овраг. Тем временем вечерняя заря начала уж меркнуть, птицы, где им положено, все угнездились, только в хлебах перепел беспокоился — поть-полоть! поть-полоть! — да коростель скрипел от бессонницы. Вскоре закат совсем потух, выкатил на небо месяц и повис, как фонарь, над полями.

Под ногами мелкая галька осыпалась, валежник похрустывал, но комиссар шел по-солдатски сторожко, себя не оказывал.

Пожалуй, он уже половину оврага миновал, крутизна кончилась, впереди показалась полянка и тут же, на сходе, посреди кустов чернотала обозначился бурый камень-валун.

Его, камень-то этот, лунным светом, как скатеркой, накрыло. На



подножье тьма, замороченные травы, купола Иван-чая, усыпанные бордовыми метляками, и кружево теней. Будто в придонном сумраке заводи самоцвет мерцает, а скатерка тонкая кисейная поверху свет-то чуть-чуть приглушает, томит.

Вдруг над головой комиссара белая птица метнулась, сделала по чернотаме круг, простонала. Потом завалилась на одно крыло и на камень-валун распластнулась.

Подбежал к ней комиссар Чугунов, только хотел в руки взять, но птица поднялась на ноги, и вот уже не птица она, а девушка, какая лишь в предутренний сон может присниться: белой березки милее, ивового прутика гибче, льна голубого нежнее.

Чугунов оторопел даже: уж не блазнит ли? Да нет, вот и месяц с неба глядит, и на земле тут все на своем месте, а девушка стоит на камне босиком, с правого плеча у нее по белой одежке кровь капает.

Надо бы спросить: кто, мол, ты такая? не беда ли с тобой приключилась? Но оторопь будто сковала язык. Не видывал еще комиссар этакой красоты.

Да и сама она ресницы опустила, засовестилась перед молодцом.

Все же мало-помалу освоились — не век же стоять друг перед дружкой!

Перво-наперво осмотрел Чугунов у нее плечо, ранку листом дорожника закрыл, вывих исправил. Боль-то унял, а уж потом спросил:

— То ли ты девушка деревенская, то ли птица неизвестная?

Поглядела она на него и говорит:

— Я то и другое...

— Пошто так?

— А по то, что Погнездовницей прозываюсь...

Сказание о Погнездовнице Чугунов уже однажды слышал, но не верил — мало ли чего людям втемяшится! И начиналось-то оно издалека. Из дальних старых времен. Жил будто бы в предгорьях охотник на пушного и хищного зверя. И была у него дочь. Вот как-то в вёшнюю пору отправилась она к озеру и взобралась на скалу восход солнышка посмотреть. Тут и заметила на верхнем уступе гнездо орланов. В нем орлята малые. Сам-то орлан с раннего утра на добычу удетел,— надо же было семейство кормить,— а орланиха гнездо сторожила. И случилось так, когда дочь охотника на скалу поднялась, там на уступе, возле гнезда, бурый медведь объявился. Сдуру, что ли, или для разминки он туда взобрался и нагакался на гнездо орлана, но дальше орланиха ходу ему не дала. Схватились они там, на уступе, долго бились между собой, потом оба свалились вниз и разбились на камнях. Пожалела девуш-

ка орлят-сирот. Спустилась туда же, на уступ, гнездо поправила, орлят накормила и успокоила, своим телом от холодного ветра прикрыла. За эту ее жалость и заботу упросил ее сам-то орлан с ним остаться, в жены ее взял. С тех пор каждая их дочь становилась птицей-девицей Погнездовницей, поручалось ей во всех лесах и полях гнезда всех малых и больших птиц охранять, а где в гнездах сироты окажутся, то кормить их и поить, пока они сами на свои крылья подымутся.

— Не ты ли в деревню-то по ночам прилетаешь и кличешь? — спросил Чугунов.

— Я, — отвечает Погнездовница.

— А пошто?

— По то, что варнак Федот Лагун не только мужицкие хлеба разоряет, но и птицам житья не дает. Силками их ловит, гнезда сжигает, черногрудых хорьков, ласок и горностаблей натравливает, чтобы птицы-то все здешние леса и поля покинули, чтобы стало тут запустение. А одной справиться с ним не вмоготу. Вот сейчас хотела я с ним по добру решить, усостить, неужто, мол, другой радости себе не найдешь. А он захохотал и камнем в меня запустил. Видишь, чем кончилось...

Иная бы заплакала от досады и от боли в плече, но Погнездовница лишь гордо выпрямилась, вся гневом запылала, — небось, кровью-то в ней орлиная! Перед Чугуновым во всем мире, кроме нее, все вроде сразу померкло: и чудный камень-валун, и светлый месяц, и окутанный темнотой овраг. Но и сам-то Чугунов был не худшей породы. Не упал на колени, не запомнил ради нее свое главное дело.

— Давай, — говорит, — веди меня, показывай, где он, варнак-то! Посчитаюсь с ним сразу и за мужицкий хлеб, и за Саверьяна, и за птиц, и за тебя!

— Что ты! Что ты! — всполошилась Погнездовница. — Одного я тебя туда не отпущу. Один на один ты с ним тоже не справишься.

Да за шинелку его ухватила, припала лицом-то на грудь.

— Милый, — говорит, — ты для меня человек!

Комиссар Чугунов приласкал девушку, как мог успокоил: я-де, не один, со мной еще двое мужиков, только свистну-крикну, как Артем и Герасим прибегут на подмогу, но и без них могу, коли понадобится, гору с места сдвинуть. Все же пообещал особо не рисковать.

Топнула Погнездовница босой ножкой по камню, руками взмахнула, вмиг стала белой птицей и взлетела над вершинами черноталов.

Идти за ней далеко не пришлось. На другом краю Старицы

заимка притулилась. Построена была эта заимка, наверно, лет полсотни назад, но когда река откатилась, никто тут после не жил. Без толку было: ни рыбу ловить, ни зверя промышлять. Так и заглохло вокруг. Избешка без окон, двери с петель сорваны, углы подгнили и покосились, на дерновой крыше крапива расплодилась, а от погребушки и от сараев лишь кострище осталось. Над обрывом перед заимкой осинник поднялся, за ним холмы, лога и бор сосновый до самых каменных увалов и скал.

Наши деревенские дальше обочин Старицы не хаживали, — вдоволь хватало ягод и груздей в своих лесах, — потому о заимке даже в разговорах не вспоминали.

Пока Чугунов сквозь осинник пробирался, белая птица подлетела к избе, заглянула внутрь, ударила в проем крыльями.

Вся заимка всполошилась. Высунулся из норы черногрудый хорь и по-сорочьи защекотал. Волк выбежал на поляну, оцетинился, морду поднял и взвыл. Писк, свист разный послышался. А в избе огонь пыхнул, из трубы искры посыпались.

Белая птица еще раз в проем крыльями ударила, крикнула по-своему, и тут же появился на пороге он самый, Федот Лагун. Комиссар-то его с одного взгляда признал, хотя бородача у Федота отросла, что конский хвост, уши из-под малахая торчат, рот ощеренный, как у кота.

Пырнул Федот Лагун, со всего плеча размахнулся и кинул в белую птицу головешкой. Та увернулась в осинник, где Чугунов шинелку снял и на всякий случай изготовился. Однако, хоть и зуделись кулаки, Чугунов сдержался. Лучше было понаблюдать из укрытия, не начнет ли Федот каким-то способом разбой свой оказывать. И Погнездовнице шепнул: молчи, мол, дальше уж моя забота.

Тем временем Федот на четвереньки встал, уши наострил, прислушался, принюхался: не грозит ли ему чего? Шум-гам на заимке тоже оборвался. Тишина такая настала — лист с дерева упадет, и то знатко!

Хитер-то он хитер, но в тишине ничего не распознал, перестал сторожиться. Еще раз побывал в избе, потом двери отбросил, на угол навалился, нижние венцы бревен приподнял и в сторону сдвинул.

Что под избой, — подвал не подвал, голбец не голбец, — Чугунов в точности не разглядел, но вот засветилось там, мельничным бусом мелко-мелко запорошило. И стукоток оттуда какой-то непонятный: то ли молотком легонько по камню бьют, то ли жернова куют? Похоже, мельница скрыта. Вправду ведь мельница! Вода подземная на мельничное колесо по желобам падает, поворачивает его, дальше на

приводе жернова, над ними бункер с зерном. А хомяков-то, хомяков на этой мельнице без числа: одни воду на колесо спускают, другие выгребают из ларей муку, третьи таскают ее в разные норы.

Оттуда же, из-под угла избы, Федот Лагун бочку пустую выка-тил, повернул ее днищем вверх и шарахнул по нему ладонью. Гул на всю округу разнесло, будто где-то вдалеке гора раскололась.

И понесло нечисть отовсюду, стаю за стаей. Вначале мыши полев-ки, потом крысы, сурки и всякая прочая тварь. Такое множество, аж трава на елани и по перелеску, как от ветра, зашевелилась. А Фе-дот руками замахал, ногами затопал, закричал им вслед: ни одно-го-де поля не пропускайте, обирайте хлебные полосы дочиста, тащи-те зерно на мельницу, пусть-ко мужики снова, как в старое время, помыкаются!

Мало ему этой выпущенной нечисти показалось, так туда же, в поля, он и хомяков с мельницы выгнал, а за то, что побежали они не прытко (ожирели с мельничного буса!) — выхватил из-за голени-ща ременный кнут и почал им по шкурам-то врезывать.

Обернулся комиссар Чугунов к белой птице, вроде немного расте-рялся.

— Что,— спрашивает,— делать теперича? Взять самого варнака немудрено, а как всю эту нечистую тварь изничтожить? Ведь несдоб-ровать хлебам, весь урожай погинет...

А белая птица, Погнездовница, уж и сама, видно, поняла, что к чему, выдернула из своего хвоста перо и запустила его в небо. Перо-то будто молния понеслось над равнинами и горами. В тот же миг все леса на сто верст вокруг пробудились: совы захохотали-запричи-тали, ястреба-сарычи заканючили, заухали филины. Вот уж и кры-лья их шумят над заимкой, уже и лунный свет от них померк, буд-то туча откуда-то накатила. А вся нечисть, Федотом науськанная, кинулась без ума врассыпную, кто куда, лишь бы подальше спря-таться, в землю закопаться.

Комиссар Чугунов тоже знак подал: свистнул, чтобы Герасим и Артем поскорее ему на подмогу бежали. Но ждать их было уже не-досуг. Пока битый с толку Федот возле избы стоял и озирался, ко-миссар ринулся, схватился с ним врукопашную.

Все ж таки у него, у Чугунова-то, силы оказалось поболее, — и го-дами он был молодой, и боролся за дело,— так что начал гнуть варнака-разбойника, подламывать. Тут кстати с одного края Стари-цы Артем показался, с другого Герасим. Еще бы чуть-чуть нажать, придавить, и грохнулся бы Федот Лагун, но комиссар нечаянно по-скользнулся. Увидел он только, как Федот оскалился, как взметнул над его лицом кулачище-кувалду, и пришлось бы мужикам заказы-вать для комиссара домовину, но тут крикнула протяжно птица По-

гнездовница, упала между ними и загородила собой Чугунова, приняла на себя удар...

Скрутили мужики Лагуна по рукам и ногам, бросили его на угол и начали заимку крушить: бревна от избешки раскидали, мельничные жернова в воду опрокинули, ходы-выходы в подземелье камнем засыпали.

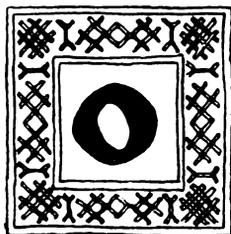
А комиссар Чугунов слова не вымолвил, не шелохнулся, не шельнулся, когда ястребы-сарычи и совы, изничтожив на полях всех мышей, крыс, сурков, обратно вернулись, когда кружились над заимкой и свою белую птицу звали. Положил он ее, Погнездовницу-то, к себе на колени, встрепенулась она, опять девицей обернулась, но только и успела на прощание шепнуть: не забывай-де, меня, но и не горюй, потому как я любовь изведала и остаюсь счастливой!..

Много потом тосковал о ней комиссар Чугунов. Дела свои исполнял в аккурате, с деревенскими мужиками по-прежнему держался в родстве, но тосковал.

Осенью, после молотбы, когда последний обоз с хлебом в город отправили, наступила пора и ему, Чугунову, уезжать. Но перед отъездом видели его наши мужики на месте старой заимки, возле холмика, под которым он в ту ночь Погнездовницу навеки укрыл. Ветер вершины ломит, вокруг желтый листопад бушует, летят в небе косяки журавлей, дятел на дереве долбится, а он, Чугунов-то, без шапки стоит у холмика, стоит и стоит...

И еще раз видели наши деревенские, как по торной полевой дороге гнал он верхом на коне, поспешал опять куда-то, может, с другим каким Ленинским словом к мужикам, а по дороге за конем пыль клубилась...

Голос большого колокола



чень уж любо в позднюю пору тальянку и песни слушать. Не уснешь ведь, не задремлешь. Так и тянет на лавочку у ворот, а на душе становится ласково, пал бы на землю и обнял бы ее, матушку родную, за всю благодать жизни!

Ночью у нас тихо. Укроется деревня темной, как одеялом, зажмурится, заглохнет, а я сижу на лавочке, трубкой попыхиваю. Вот звезда с неба покатила. Вот из гумен запах полыни нахлынул, из огорода, с огуречной гряды,

росой напахнуло. Под застрехой голуби легонько шебаршат, спросонок гулят.

В этот час вдруг несмело, остороженько, в ползвука, будто па-

рень с девушкой в первый раз поцеловались, — эвон оттуда, из-за деревни, где в логу ручей течет, — тальянка заиграла. Потом все посмелее да погромче — и пошла сыпать переборы пригоршнями. Вскоре с другого конца деревни, на лугу, другая тальянка ответила переливчато, скороговоркой, вроде на спор позвала: давай-де, потягаем, кто из нас ловчее, которая вокруг себя больше молодяжника на игрища соберет?

Конечно, парням и девушкам не все ли равно, где плясать, лишь бы музыка заставляла ноги ходить ходуном, скучать было бы недосуг. Но у меня суждения иные. Я свое отплясал, с седой-то бородой на игрища бежать уже неловко, так сидя на лавочке у ворот думаю: кто из двух тальянок выпорит, которая звончее и милее? Тут ведь дело непростое. У одной лады поставлены медные, эта далеко свой голос не выносит, а у второй, что ни лад, то чистое серебро, небось, в Дальней роще слышать.

А если еще под тальянку песня польется, то как об этом сказать, слов не найду. Сожмет у меня сердце, и душа у меня замрет в великом смятении.

Уменье петь-то и на тальянках играть — это от самой природы, наверно. Иного человека наградит она не жалеючи: и фигурой, и лицом, и умом, и сделает его ко всякому делу способным. А если для кого-то на наружную красоту поскупится, то во всем остальном не найдешь ему ровни.

Был у меня в молодости дружок Гришан, по прозвищу Кузнец. Это прозвище пошло у них от деда, все в роду робили кузнецами-мастеровыми.

И Гришанька сызмальства к ремеслу приучился. Парень он был не шибко видный, не из тех, при встрече с которыми девки краснеют: не чернобровый, не кучерявый и ростом не с колокольню. Этак вот с меня ростом, только в плечах шире. И еще вихор у него на затылке торчал, да глаза были каленые, пронзительные. Выйдет из кузны — рубаха аж к спине прилипла, лоб мокрый, сам весь черномазый от копоти, а в глазах все еще горно отсвечивает.

Не знал я и не слыхивал голоса более чистого и гибкого. Как заведет Гришан песню, так все вокруг замолкает. Сидит он на чурбаке возле прясла, ресницы опущены, голова чуток откинута назад, а голос льет песню: то до самой вышины, то до самой глубины, то плеснет ее вширь по всему раздолью. Мужики шапки снимают, бабы платки развязывают, и такое-то у них в лицах возникает мечтание, будто на крыльях поднялись они в небо.

Сказывали люди, будто парнишка-то с рождения был безголосый, а потом сам дед-кузнец для него голос отковал. Из рога серебряного. Тот рог-то был деду дареный ссыльным, что проживал в наших ме-

стах. Особую силу и блеск имело серебро. Но как деду это удалось, про то не знаю. Мастерством он владел тонким. Умел коней обувать подковами, на тележные колеса шины ставить, а также и другое прочее, без чего деревенскому жителю обойтись нельзя. В междуделье, для своей охотки из железа кружевы плел узорное, шаркунами-колокольцами праздничные сбруи украшал, а один раз, я сам видел, табакерку изладил, похожую на цветок стародубки. Стебелек-то легонько ногтем нажмешь, табакерка сейчас же из корбочки понюшку выдаст, а потом сыграет плясовую.

Вот ты, как я погляжу, уже взрослый, небось, сам замечал — способный-то человек завсегда про себя мало говорит.

Я это к тому сказываю, что Гришан, как и его дед, по деревне гоголем не хаживал, не зазнавался, — вот, мол, я какой! Иной раз на игрище девки к нему пристанут:

— Спой, Гришанька, про зиму-зимушку морозную или про то, как миленок с зазнобушкой прощался.

А он, Гришан-то, пыхнет румянцем, засовестится, однако уважит.

Не берег он голос. Все, кому любо, слушай: и люди, и поля, и луга, и зорька вечерняя!

И стала к нему приставать Заманиха.

Один раз пахали мы с Гришаном пашню под яровые. У них, у Кузнецов-то, поле было по одну сторону речки, у нас по другую. Мне с моего стана было видать, как он за сабаном ходит, погоняет коней кнутом, чтобы с борозды не сбивались. Слышу, поет парень, ну, поет! Меня аж пронзило: то в жар, то в холод! Пришлось коней останавливать. Но только я в борозде присел, песня вдруг оборвалась. Смотрю, и Гришан там, у себя на полосе, пахать перестал, а на опушке леса, где гон кончается, какая-то баба стоит. С издали я не мог взглядеться, какова она собой, — то ли старая, то ли молодая, — но приметил: дело не ладно, баба палкой грозитя. Эх, думаю, ведь побьет она моего дружка! И как был в одежде, через речку перемахнул. Подбегаю, никакой бабы уже нет, а Гришан смеется.

— Ты чего, — спрашивает, — всполошился?

— Тебя собрался выручать, — говорю, — где она, бабешка-то?

— А это вовсе никакая не баба. Сама Заманиха. Сначала к себе в гости звала, всяко заманивала, а потом заругалась, грозитя начала. Сумление-де наводишь.

— В чем же, — спрашиваю, — сумление?

— В том, будто бы, что зачем пошла, то забыла. Стояла у березы, как привязанная, слушала. А я-то, мол, причем тут? Для себя пел. И по гостям в эту пору я не ходок, надо урок исполнить, перепахать пашню-то. Так она хотела меня палкой огреть...

Ну, посмеялись мы и на том разошлись. Не пало нам тогда на ум,

что Заманиха сразу не отстанет. Так ведь оно и случилось. Уж сенокос начался. Травы выросли густые, высокие. Трудненько приходилось. Бывало, намахнешься за день литовкой, да еще комарье спину нажжет, так к сумеркам рад до балагана добраться. Вот и остался Гришан в поле ночевать. Поужинал он в тот вечер похлебкой, в речке искупался, но природа все же свое взяла: устал не устал, а попеть надо. Сел на берегу под ольхой, да и запел про зелен сад, про девушку-радость, что живет в том саду посреди цветов алых. Тут, к песне-то, еще и месяц из-за тучки выглянул, положил вдоль речки шелковый половик, чтобы голос по нему лился, не тускнел, не глож и не миновал бы никого, кто в деревню с покосов не уехал.

Близко к полуночи зазвенели в лесу колокольцы под дугой, и вымахнула к берегу тройка коней. Возле Гришана вздыбились эти кони, от натянутых удил оскалились. И вышел из двуколки, из коробка плетеного, поп — не поп, но такой же долгогривый, в тулуп закутанный. Ну, а на поверку оказалась опять Заманиха. Скинула она тулуп-то, из травы и из мха шитый, косы прибрала, и светом-то от реки как ее обдало, — Гришан даже на миг зажмурился: не блазнит ли?

Кинула она ему под ноги мешок с золотыми монетчиками.

— Дивно ты, Гришан, возгудашь!* Невмоготу уж мне. Зла на меня не держи, как я прошлый раз ругалась. Вот золото возьми, садись со мной на тройку, побывай у меня, дай тебя послушать досыта!

Гришан-то мешок с золотом отпихнул:

— Не бывало, — говорит, — и не будет никогда, чтобы я за песни деньги брал. Не затем он мне, голос-то, даден!

Заманиха еще один кошель с золотом бросила из коробка.

— Так продай мне голос! Не поскуплюсь! Сама петь стану...

— Ступай отсюда! — рассердился Гришан. — Ни к чему тебе голос! Без души ни одной песни не споешь. А твоя душа где? Заманиваешь ты не душевностью и не добром, а уловками хитрыми.

Зашипела Заманиха со зла, обратно вскочила на тройку, гикнула, понужнула коней кнутом — и быть-бывала.

Поднял Гришан кошелю, повертел в руках: куда их девать? «Ладно, — думает, — откуда они взялись, пусть туда и вертаются!» Вытряхнул золотые монетчики, но они лишь земли коснулись, так осенними листьями-падаликами сразу все обернулись.

Опасаться мы стали Гришаньку одного в поле оставлять, но каждый в деревне понимал: под замок парня не закроешь, в сундуке его голос не сохранишь.

* Возгудашь — поешь.

А самого Гришаньку предупреждали: ты, мол, все же берегись, Заманиха злопамятна, любит всякую всячину к своим рукам прибирать, а потом оборачивать против людей; как бы, мол, не навела на тебя затмение.

Однако подкараулила она его, нашла приманку...

Помнится, был у нас в деревне праздник. По обычаю собрался весь молодежьник в логу. Там гулять очень способно: понизу ручей течет, с обочин краснотал и осинник, а поодаль, большая елань. Хочешь, в кругу пляши, а не то сиди себе с девушкой под кустом краснотала, воркуй.

Под вечер, когда все мы уж наплясались досыта, чуть с ног не валились, дошла очередь Гришаньке петь.

Пригулился он спиной к осине, спросил:

— Ну, парни-девки, какую вам песню завести: веселую или душевную?

Тут многие стали просить: давай, дескать, тихую и милую, как синий сон.

А тихие-то, душевные песни он завсегда пел с подголоском. Девки у нас петь тоже мастерицы, но в подголосок с Гришанькой решалась лишь одна Анка Снегирева. Была она девка бойкая, красивая, женихи увивались возле нее числом несметным, а выделяла она из всех Гришана. Даже подругам тайно однажды призналась: «За Гришаном-то по любому морозу хоть босиком пойду!»

Ну, и пел он с ней слаженно. Анка завсегда вела подголосок не сильно, не возвышалась до Гришанькина голоса, но зато подхватывала мягко, ласково, как на вытянутых ладонях держала каждое спетое миленком слово.

Тихо-тихо стало на елани. Ручей и то перестал журчать. Девки одна с другой обнялись, парни у их ног сели, а Гришан чуть этак качнулся, обнял Анку, будто в дальний путь с ней собрался.

Уж так-то они пели на этот раз и такими-то казались счастливыми, век бы их не разлучать, а все слушать и слушать!

Потому, наверно, сразу мы не заметили, как сюда, к нам на елань, подошла чужая девица: то ли гостя чья из соседней деревни, то ли случайно проходная? Впрочем, по одеже-то отличить ее от наших девушек было почти невозможно: такой же сарафан с кружевом по подолу, такая же кофта с оборками, в косе лента. Только босая, без обуви, да на плечи был накинут платок шелковый.

Спрашивать, откуда ты родом, по какой причине тут появилась,— у нас в привычке нет. Места всем хватит: и своему, и приходящему!

Вот и эту девку не прогнали, а кабы знатье, чего она натворит, то надо было турнуть и близко не допускать...

Встала она напротив Гришана, в лицо-то ему уставилась,— куда он ни глянет, его взгляд на лету перехватывает. Не моргнет даже.

А Гришан, знай, ведет песню. Чего ему: Анка ведь рядом.

И вдруг дрогнул он, вроде песню забыл, озираться начал. Что такое? Какая-то музыка незнаемая донеслась, отвлекла. Нет, это не тальянка вмешалась. Не балалайка забренчала! Не пастуший рожок. Словно множество стрекоз и кобылок враз застрекотало, или по гуслиям-самогудам ветер промчался, или жаворонок над пахарем взвился и возрадовался, кукушка прокуковала, вскрикнула иволга, пролетел косяк журавлей, или волны гребнистые о песчаный берег ударились, а где-то вдалеке молния сверкнула, и гром прокатился из конца в конец. Все это вместе слилось, перемешалось, и получилась музыка, та самая, от которой уж не усидишь на месте.

А Гришану, может, еще и другое чего-то послышалось: не песни ли новые, каких он еще не певал?

Между тем чужая-то девка из-под кофты деревянную шкатулку достала, подняла ее над собой, крышку откинула, и вот музыка та, как через край, из шкатулки пролилась на елань и в конец Гришана заморозила. Отстранил он от себя Анку, хотел к чужой девке ближе подойти, но девка босой ногой топнула и пошла по лугу вдоль ручья, прямо к Старой дубраве. Гришан вслед за ней. Так она его и увела.

Лишь после, когда музыка смолкла и Гришан из виду скрылся, первая из нас, Анка Снегирева, спохватилась:

— Ой,— говорит,— догоняйте его, парни, скорее, это ведь была тут опять Заманиха, сманила моего милого...

Кинулись мы искать, ближние леса обшарили, звали, кричали,— нет парня нигде.

Старые люди, кои про Заманиху знавали побольше нашего, сказывали потом, что в Урале, возле каменной горы, посреди большой пади, где пешим не пройдешь, на коне не проедешь, у нее свой дом построен. Стоит тот дом на сваях, бревенчатые стены хмелем увиты, дурнопыяном, вместо забора, огорожены, а в горницах всякого лесного богатства не счесть. Сама она, понятно, не сеет, не жнет, но, однако, каждый день шаньги печет. Живет на даровщину,— с мужицких полей хлеб собирает и блудливых коров доит. Про таких-то и говорят у нас: не учи козу, она сама стянет с возу!

Поселила Заманиха гостя у себя в горнице, ковры и половики расстелила, выставила на стол угощение всякое, а чтобы не заскучал он, не опаматовался бы, но пел бы и пел, шкатулку с музыкой к нему ближе подвинула.

Как во сне жил в то время Гришан. Вот уж и неделя миновала. Заря с зарей меняются, дни и ночи проходят, а он не ест, не пьет, только Заманиху песнями убажает. Уже все песни, какие знал,

полностью перепел, по второму кругу их начал, но Заманиха и на миг его одного не оставляла, чудной музыкой-то, как сетью, продолжала опутывать. Дожидалась, когда он устанет и уснет, чтобы у сонного голос отнять.

Ну, впрочем, нашего мужика, уральца, в какой воз ни запрягай, он сдюжит.

Не могла Заманиха Гришана пересидеть, сама задремала. Сразу в шкатулке-то музыка кончилась. Тут лишь встряхнулся парень: что такое? Где это он? У кого? Пошто людей не видать? Пошто песни-то он поет все старые, давно перепетые? А оглянулся туда-сюда — стены да потолок горницы, за окошком топи, валежники, глухота дремучая! Да вот еще у простенка на перине какая-то баба лежит. Ох ты-ы! Ведь это же Заманиха! И в голове-то у него сразу просветлело.

Подобрал он веревку покрепче, из конопляной кудели плетеную, сгреб Заманиху, потом вместе с периной прикрутил к скобе у простенка.

— Посиди-ко ты теперича на привязи, пока я отсюда не выберусь. А вздумаешь догонять и снова мороку наводить, то уж потом на себя пеняй!

Заманиха сначала заругалась, принялась веревку рвать, реветь и упрашивать:

— Неспроста и не со зла я тебя, Гришан, заманила. Оставайся со мной, любить стану, целый век проживешь, не состаришься.

А у самой глаза холоднющие, так бы и вцепилась в него.

Гришан-то усмехнулся лишь:

— Чем век с тобой вековать тут, в гнилой-то пади, лучше в один миг сгореть, но по-людски!

И ушел. Через топкую падь еле-еле перебрался. Куда ни ступит — везде лабда зыбучая, тина, осока, вода промозглая. Свету дневного не видать — туман! И ползет, и ползет этот сизый туман с кочки на кочку, по камышам низко стелется.

Возле скалы, у подножия которой из расщелины вода ключевая плескалась, сел отдохнуть.

Долго сидел, пока до конца в сознание пришел и почувал, как от сердца по телу тепло разлилось. Вот она опять перед ним, жизнь-то живая! Куда еще краше: под синим небом лес шумит; еланки и прогалки разнотравьем пышут; разная насекомая мелкота бунчит и стрекочет. Тыщи, миллионы всякой живности чего-то ладят, строят, любятя меж собой, чистят и украшают весь мир, в котором живут. И это все подлинное, без обману, не то что та шкатулка Заманихина.

Ну, и вызграл! Полилась песня пуще прежнего. Уж так он душевно

ликовал, так звал к радости и такие-то дивные, любезные слова вдруг нашлись, словно жар-птицы на весеннем току.

Но кто же ты сам, человек, ежели не жар-птица?

Вот о чем в песне-то пелось.

А на взгорье тем временем вскрикнул кто-то в ответ, потом мягко и ласково песню подхватил.

— Анка! Анка! — закричал Гришан.

Выбежала Анка навстречу, обняла его.

— Я давно ищущ тебя, Гриня! И разыскала бы!

Тут и уговорились они, как дальше быть. Анка поначалу советовала обратно в деревню вернуться, снова заняться мастерством и хлеборобством, дело-де, известное, а кроме того, вся родня вместе, но Гришан с ней не согласился:

— Пропадет мой голос и песни завянут, ежели все на одном и том же месте толочься. Понесу-ко я их по Расее, чтобы служили они всему народу. Не зря ведь мой дед научал: не то счастье, что дома лежит, а то, которое людям отдано!

Доносились потом до нашей деревни слухи с разных краев: там-то и там-то Гришанов голос звучал, там-то и там-то новые песни люди от Гришана переняли и сами стали по мере возможности петь, там-то он любовь восхвалял, там-то подвиг чей-то прославил.

Песня ведь штука не праздная, а самонужнейшая, как огонь в кузне.

Вскоре после тех годов революция совершилась. И вот уж при Советской власти довелось мне, мужику, в Москве побывать. Ходом я туда ездил по мужицким делам. Поначалу наглядеться не мог. Башни Кремлевские, храмы и дворцы золоченые. А как-то поутру слышу: заиграли на башне колокола! Малый перезвон. Потом большой колокол ударил, отбил восемь часов. Меня аж вскинуло! Что такое, думаю, неужто блазнит? В большом-то колоколе вроде бы Гришанов голос, этакий же напевный, душевный!

И довелось мне тогда от разных людей узнать о самой заглавной Гришановой песне.

Когда народное правительство переселилось из Питера в Москву, то Владимир Ильич Ленин дал одному московскому часовых дел мастеру заказ: на Кремлевской башне куранты починить, чтобы весь народ точное время знал и по тому времени равнял бы свою жизнь и работу.

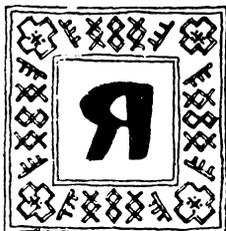
Мастер, конечно, заказ принял, поручение было великой чести, хотя мудреное и скорое. А себе на подмогу призвал он также и других мастеров: по каменной кладке, по плотницкому, по кузнечному ремеслу, чего надо заново отковать и поправить.

Тут-то Гришан и погодился. Певец-кузнец.

Кончили они починку, начали пробовать. Все сделано было в аккурате. Часы пошли точно. Куранты время отбили чисто. Но только в самом большом колоколе неожиданно-негаданно изъян нашелся. Трещинка, вроде, какая-то. Чуть-чуть дребезжание. Сдавать заказ в таком виде, понятно, не гоже. И вот тогда спел Гришан свою последнюю песню, а потом серебром-то своим трещинку зачеканил.

Ты послушай, однако, сейчас по радио московские куранты полночь начнут отбивать. Да навести ухо пуще и различай: где просто колокольный звон, а где душевное пение...

Первый землемер



еще вот этаконький был ростом, аршин с вершком, шел мне тогда, наверно, восьмой, не то девятый год, но дядю Андрея Кондратьича помню так, будто сейчас вижу.

Жил он от нашего двора по соседству, в избе-землянухе. Зимой, бывало, заметет-занесет его избешку снегом, сразу не найдешь: торчит из сугроба труба, дымок из нее стелется, печеным хлебом припахивает. А во дворе пусто: ни амбарашки, ни погребушки, ни колодца, ни бани.

Только возле огорода, на угорке, стоял пригон — плетень круглый, на нем крыша, соломой крытая, тут дядя Андрей корову держал и кобылу Пегуху.

Кобыленка-то была маломерка беспородная, но зато выносилавая, — хоть на пашне, хоть в пути-дороге.

Со смеху иной раз надорвешься, когда Андрей Кондратьич на Пегухе верхом проедет: лошаденка мелко-мелко трусит, копытами постукивает, а ноги Андрея Кондратьича по земле волочатся.

Один раз брал он меня с собой на мельницу. Вёшна только кончилась, зеленыя уже на пашнях поднялись, а ехать приходилось десять верст, до реки Течи. Нагрузил дядя Андрей на телегу пудов двадцать зерна, меня поверх мешков усадил, сам взгромоздился, и покатали мы рано утром.

Ну, пока дорога шла ровная, Пегуха везла исправно, а версты за три до реки есть протока между болотами, тут мы застряли. За вёшну на протоке колею смыло, и как Пегуха на нее взошла, так все колеса телеги сразу утонули в грязи по самые ступицы. Тпру! Стоп! Вылезай и сгружайся!

Сколько ни бились, не могла Пегуха телегу вытащить. И лошаденку-то жалко ведь, надорвется. Вот, смотрю, Андрей Кондратьич

вожжи развязал, гужи распустил, снял дугу, оставил телегу в протоке, а Пегуху вывел на бугорок и пошел сам впрягаться. Оглобли-то под мышками зажал, а чересседельник на плечи накинул, потом раскачал телегу в колее, туда-сюда — да ка-ак рванет! И повез...

На бугорке опять Пегуху в упряжку, и как двинулись мы дальше, пот со лба рукавом рубахи вытер, сунул в нос табаку понюшку и молвил:

— Да разве ж Пегуха могла справиться? Я сам-то еле-еле выволок!

Силища была у него непомерная, но к делу он ее применял мало, не от лени, а, пожалуй, от скуки. Помнится, так объяснял:

— Поди, кому она такая жизнь на пользу? Сколько хребет ни ломай, все равно, то, чем земля наградит, царская власть отымет — богачам в утробу! Эх скушно, скушно...

Страсть как богатых отрицал, ни к кому из них во дворы не хаживал, шапку не ломал и не кланялся.

До Советской власти боролись, конечно, наши мужики с богатеями, как могли. Иной раз и побоища случались. Стенка на стенку. С оглоблями. С кольями. С одной стороны наши, третьеулошные бедняки, а с другой — хозяева, что всю первую в деревне улицу заселили.

Вот и пошлют, бывало, мужики гонца к дяде Андрею. В ночь-полночь, все равно. Ломается-де наша стенка, айда скорее, Андрей Кондратьич, выручай!

Тут он не мешкал, на сборы не тратился. Босиком, в одной рубахе, без шапки садился верхом на Пегуху, валенок в руку и пошел копотить. Мороз не мороз — гонит! А голой рукой не бил, опасался. Только валенком. Как почнет со стороны на сторону помахивать, то будто медведь по густому мелколесью протопал, лесинки-то примял, придавил.

Первоулошным все это было не в масть, не по нутру, так они решили между собой во что бы ни стало поквитаться с Андреем Кондратьичем.

Справляли в деревне масленицу. Дядя Андрей тоже со своим дружкой Аникой-воином, старым солдатом, брагой хмельной угостился, потом шли-шли они по первой улице — грудь нараспашку! И разморились, что ли, уселись возле дороги на сугроб, давай песни петь.

Подобрались к ним пятеро первоулошных богатеев. Быколомы натуральные, да к тому же в варежки свинчатку положили.

Один из них развернулся вправо и со всего-то маху — бац Андрея Кондратьича по скуле!

А дядя Андрей будто и не заметил, сидит поет.

Богатей снова его — бац! Тут дядя Андрей петь перестал, толкнул дружка в бок:

— Чего это, Аника? Вроде сегодня масленица, морозно, а откудов-то комары налетели, кусаются.

Потом уж поглядел на богатеев, пошевелил бровями, а брови-то у него были лохматые, вместе с бородой под один оклад.

— Вам чего тут занадобилось? Ну-ко, ступайте подобно!

В иное время он бы их пораскидал по сугробам, но в тот год уже установилась у нас в деревне Советская власть, ревком начал действовать, вот из уважения к своей родной власти и стерпел дядя Андрей, неловко было подымать завируху, у ревкома без нее хватало забот. По лесам еще белые банды скрывались, а в деревнях богачи от Советской власти хлеб прятали, то таились с обрезками по зауглам.

Вскоре после масленицы ревком назначил Андрея Кондратьича землю перемерять. Это был у нас большой перемер, с него, можно сказать, только и воспрянули мужики. Прежде, при царе-то, богатеи позабирали самолучшие пашни и покосы, теперь эти пашни и покосы ревком от них отобрал и велел самой бедноте разделить.

Михайло Крутояров, председатель ревкома, на деревенском сходе сказал:

— Ты, дядя Андрей, сделаешь по справедливости, без сватовства-кумовства, сначала вдовам и сиротам, что после войны остались, потом воинам, кои за отечество страдали, потом беднеющим мужикам, а уж первоулошным позади всех, отведи им дальние поля, кому сколь по закону положено.

Такое дело шибко по душе пришлось Андрею Кондратьичу. Он даже ответил тогда: наконец-де настоящего дела дождался! И бороду наполовину остриг, подровнял ее, в новые сапоги обулся, когда в первый день пошел с печатной саженью на поле.

Начал отмерять пашни и покосы сразу от Старой рощи. Тут земли черные, без суглинков, без солонцов, палку воткни, так и то из нее дерево вырастет.

А уж талица шумела вовсю: ручьи текли; на прогалинах молодая прозелень; соком березовым пахло; грачи гнезда чинили.

Мешкать было недосуг. Вот-вот талые воды схлынут в лога, пашни подсохнут, прогреются, надо сеять начинать.

За один день Андрей Кондратьич обмахал саженью поля до Холодной пади, а там, возле пади-то, прежде самый заглавный богач из нашей деревни, Флегонт Никитич, хозяйничал. У него весь лес был огорожен пряслом, в загородке изба полевая, навесы для коней. Он сюда нас, ребятишек, за ягодами и груздями не пускал. Только залезешь к нему в загородку через прясло, он сейчас же выбегает из избушки с ружьем, да горохом, не то солью в спины палит.

Вся эта благодать Флегонта по земельному перемеру досталась бабам-солдаткам Татьяне Черезде и Анисье Ступочке.

— Ну,— сказал им Андрей Кондратьич,— ваше счастье, бабы! Теперича вы из нужды вылезайте, сейте хлебушко на здоровье, а из лесу себе ставьте дома новые.

А Флегонт в драку на Андрея Кондратьича кинулся: глаза горят, сам от злости в ознобе корежится, в руке топор.

— Всех порешу,— кричит,— не смейте мою землю трогать!

Бабы, конечно, от страха сразу наутек бросились, мужики, кои делить землю помогали, посторонились и в кусты подались,— не ровен час, от злодея добра не дождешься! Лишь Андрей Кондратьич ни шагу назад не ступил, сгреб его и вместе с топором в болото забросил.

— Искупайся в холодной воде, охолонись!

И на добавок внушил:

— Ой, не балуй, Флегонт, супротив народной власти! Худа наживешь...

Пока опять мужики и бабы собрались, да пока Андрей Кондратьич с ними судил-рядил, как поделить землю Флегонта, чтобы ни Татьяна, ни Анисья в обиде не остались, день кончился, туман с пади начал подыматься. Уговорились отложить работу на утро. Мужики с бабами ушли в деревню ночевать, а дядя Андрей на месте остался. Я-де утром-то пораньше встану и до вашего прихода обойду поля.

Разложил он на еланке костер, высушил одежду и сапоги и раздумался о самом себе. Скушная прошла жизнь, со всех сторон никудышная. Что же это, право, за жизнь, ежели сила в тебе пропадала! Это ведь одинаково, что взять сто рублей, положить их в карман, а самому с голоду подыхать. Ни тебе радости, ни людям! Этак-то пройдет твоя пора, и добрым словом никто не помянет: был на свете, а все равно, что и не был!

Жалко ему стало себя. Вот, дескать, теперич родиться бы, или помолодеть бы, так развернулся бы на оба плеча, поробил всласть! Перво-наперво на протоках и на ручьях мосты бы поставил, чтобы кони не надрывались. Наготовил бы бревен и срубил бы для школы новый сруб-дворец деревянный: ну-ко, парнишки-ребятишки, садитесь за буквари, хватит вам на полатах тараканов считать, умом запасайтесь, не зря от Ленина Советская власть пришла! Э, да мало ли какие нужные дела можно руками поднять...

Шибко задумался-то, даже в костер корья подбросить забыл и не услышал, как позади сухие сучки под чьими-то ногами хрустнули, не заметил морды козлиной, которая из чащи высунулась.

Спохватился, да поздно! Руки, ноги оказались накрепко связан-

ными, а сам уже на елани лежит, в темное небо смотрит. Заворчал было:

— Что за оказия, кто балует?

Тут над его ухом по-козлиному замемекало, козлиный дух в носшибанул, а в бок острые рога уперлись.

Вгляделся Андрей Кондратьич: да ведь это Флегонт в козлином обличье! Та же борода сивая клинышком, та же нижняя губа отвислая, и в одной мочке серьга медная болтается. В деревне никто из мужиков на ушах серьгу не носил, только этот Флегонт. И не сам он ее вздел-то в мочку, а старуха одна прохожая. Попросила она у него с устатку квасу попить, он даже простой воды не подал, вот старуха и наказала: «От тебя-де для людей, как от козла,— ни шерсти, ни молока! Так век козлом и промаешься, пока какое-нибудь доброе дело не сделаешь, а в залог на то, вот эта серьга медная». Соседи Флегонта сказывали, будто с тех пор по ночам у него обличье стало меняться, он дома ночевать не оставался, в загородку уезжал и до утра по лесам бегал. Дядя Андрей над такой байкой, бывало, смеялся,— врут соседи, не дорого берут! — да вот случилось, самому пришлось повстречаться.

Двинул он плечами, поднатужился,— порвать бы путы! Не то злодей бок прободает рогами. Раз, два взял — не берет! Из конопляных веревок скручены, хитрыми узлами завязаны.

— Ой, наживешь-таки себе худа, Флегонт! — опять предупредил Андрей Кондратьич,— сполна за меня ответишь, коли жив не останешься!

Замемекала козлиная образина, прицелилась, было, прямо в грудь ударить, но ведь известно: козел хоть и любит в чужом огороде капусту глотать, все же оглядывается.

Вот и надумал Флегонт за собой следы скрыть. Как раз рядом с еланкой между берез муравьи городище построили. Переволок он Андрея Кондратьича туда, поверх муравьиного городища положил. И так-то это ему пришлось по уму, даже от радости подпрыгнул вверх. Уж чего проще: на съедение отдать! Все останется шитокрыго.

И убежал.

Чует Андрей Кондратьич, муравьи к нему под рубаху поползли. Ну, думает, до утра не дожидаться, красной зорьки не повидать. Кому-то иному придется перемер земель доводить до конца.

Поворочался еще на боку, попытался встать и задел головой что-то мягкое, как варежка. Замельтешили на березах светлячки, колокольчики полевые на елани зазвенели, огнецветы запольхали.

Посмотрел Андрей Кондратьич ближе — вовсе это не варежка, больше похожа на ремезово гнездышко или на пестерюшку с кры-

шечкой. Только пестерюшка не простая, не из лыка, не из краснотала плетеная, а из конского волоса выткана и на ветку привешена.

Открылась на пестерюшке крышечка, а там вроде спаленка, вокруг пухом выложена, и сидит на том же пуху девчушка, сладко спросонья позевывает.

— Это ты,— спрашивает,— дядя Андрей, меня потревожил?

— А ненароком я,— отвечает Андрей Кондратьич,— в темноте-то было незнатко, ночь ведь, а тут меня мураши шибко кусают. Хотел веревки порвать.

— Кыш вы, мураши! — прикрикнула девчушка из пестерюшки.— Не смейте человека трогать! Соберитесь-ко все вместе, зубами пугы перегрызите, а ты, дядя Андрей, уж сделай милость, поправь им городище, где придавил.

Размял руки-ноги Андрей Кондратьич, пособил муравьишкам и рассказал, как и почему тут оказался.

Девчушка из пестерюшки-то по серебряной лесенке спустилась, встала на пенек, фонарик подняла.

— Ладно, дядя Андрей, ты поутру свое дело продолжай, а уж я сама с Флегонтом управлюсь. От него здесь житья не стало. Ягодка-клубника для людей растет, травы-то медовые для пчел цветут, а он все подряд косит на сено скоту. Не то погляди, сколь тут в лесу пеньков! Это он же белые березы на дрова перевел, а дрова продал и деньги в кошель припрятал. От нужды, что ли?

— Небось, ты грозишься только? — любопытствовал Андрей Кондратьич.— Он, поди-ко, даже ухом не поведет. Мала ты шибко...

— А ты про Василису-травяницу слышал?

И вместо девчушки-то из пестерюшки на пеньке вдруг старуха оказалась, та, что как-то в деревне была и квасу у Флегонта просила.

— За любое добро я добром же плачу, а за зло — наказанием. Чего Флегонт заслужил, то и получит. Вот завтра утром подойдет к своему двору, а двор не узнает. Станет потом из деревни в деревню ходить свой двор искать, как козел бездомный. Это и будет ему от меня наказание за то, что природу портит и что тебя, трудового мужика, хотел загубить.

— Ты, конечно, можешь поступать, как хочешь,— молвил Андрей Кондратьич,— а нам он, Флегонт-то, теперич не страшен. Мы сами хозяевами стали. Для самих себя будем стараться. Вот бы только поскорее перемер земли кончить.

— Ишь ты-ы! — даже изумилась Василиса-травяница.— Значит, все вы мужики к правильной жизни пришли?

— Советская власть нас к этой жизни-то привела и двери в нее открыла. Земля теперич нам навечно отдана. Все пашни, леса и по-

косы. А мне вот от общества почет оказан: велено землю поделить! Чтобы ни одна семья без надела не осталась.

— Ишь ты! — опять сказала Василиса-травяница. — А я тут у себя в спаленке всю-то зиму проспала, слыхом ничего не слыхала, какие у вас перемены вышли. Ну, а коли так, то ждите нынче большого урожая. Уж я постараюсь. И травы вам выращу и хлеба подыму.

— За то спасибо тебе, — отбил ей поклон Андрей Кондратьич. — Мужики и бабы тоже нынче в охотку робить-то будут. Во всю силу. А силы у нас, у мужиков, много. Так что, твой труд зазя в поле не пропадет.

— А меряешь-то ты землю чем?

— Да из палок печатную сажень изготовил, — три аршина и три вершка.

— Этак ты долго ходить будешь. Не успеешь до начала сева. К тому же, как тебе от народа сказано?

— Без обид поделить.

— То-то же, без обид. Это не просто. Ну, да ладно, может, и тебе я чем-нибудь помогу...

Подвела она Андрея Кондратьича к старой осине, которая поодаль от еланки стояла, и по корью палочкой постучала.

— Вот у нее, у осины-то, под корнями сажень-самоходка лежит. Ежели сумеешь достать, свой долг перед народом с лихвой исполнишь. С ней, с саженью-самоходкой, все поля в один день перемеришь, а там, где ты с ней пройдешь, не останется на пашнях ни суглинков, ни беликов, ни орешников, только чернозем богатимый. Значит, для всех, кому от Советской власти наделы положены, никаких обид не случится.

Примерился Андрей Кондратьич: велика осина, могуча, развешта. А корни коряжистые.

— Ладно, завтра поутру принесу сюда лопату и топор, откопаю сажень-самоходку.

— Утром-то нельзя, — сказала Василиса-травяница. — Надо сажень-самоходку взять, пока осина спит.

— Э, да чего это я, без лопаты поди-ко не справлюсь! — рассердился сам на себя Андрей Кондратьич. — Есть ли на свете такое, чего бы я осилить не мог. Ну-ко!..

Обхватил осину обеими руками, рванул, сколь было мочи, и выдрал напрочь. Опрокинулось дерево, затрещали и оборвались корни. А из-под них белый камень обнажился. И тут, на камне, сажень-самоходка. Взял ее Андрей Кондратьич, повертел в руках, — как пещерско легкая, а из чего сделана, не понять.

Тем временем Василиса-травяница опять девушкой обернулась и в пестерюшке укрылась.

Снова в лесу стало темно, глухо. Поглядел Андрей Кондратьич, а костер-то у него уже совсем потух, и сквозь вершины лесин заря начала пробиваться. Он уж было подумал, уснул-де, наверно, крепко, и приснился ему такой чудной сон. Но, однако, вот обрывки веревки валяются, которые мураши перегрызли, а вот и сажень-самоходка тут рядом лежит, как перышко легкая.

Вскоре развиднелось, талые воды с угорка зажурчали. Налетел с полуденной стороны теплый ветер-ярило, от вёсны посылный.

Еще мало времени погода вернулись с ночевки мужики и начали Андрею Кондратьичу рассказывать, что Флегонт по деревне бегаёт, никак своего двора не может найти, что учитель приехал всех мужиков грамоте обучать, а от ревкома вышло решение до начала сева везде на протоках мосты поставить, и чтобы Андрей Кондратьич поскорее с перемером земли управился, потому как надо бревна заготовлять, да школу и избу-читальню строить.

— И с тобой чего-то сделалось, дядя Андрей,— сказала ему Татьяна Черета.

— Вроде ничего.

— Нет, помолодел ты, кажись, на много годов.

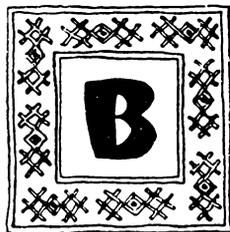
— Не помолодел, но душой възиграл,— исправил Андрей Кондратьич.— Жить стало не скушно. Добро стало жить. Себя по пустякам тратить не надо. Вот еще вечер лишь думы да мечтания были. А сегодня уж и вправду так.

Потом взял сажень-самоходку, приставил ее к ноге, крикнул мужикам:

— Айдайте, пошли! Новой саженью для новой жизни землю отмеривать!

Вот таким-то и остался он в моей памяти.

Типун-трава



от ведь, совсем забыл, как ту баушку по имени звали. Только прозвище помню — Рябушка. Рябенькая она была. Веснушчатая. Идет, бывало, с поля, на палочку опирается, а у самой на загорбке мешок с травами. Это она целый день ползала там, на лугах-то да на еланиях, и травы по листику, по цветочку, по корешку набирала. Я как-то спрашивал ее: «Для чего ты запасешься ими? Уж не знахарка ли ты?» Ну, она поглядела на меня этак не шибко добро, а все-таки не обиде-

лась. «Я, — говорит, — никакая не знахарка, сама никого от болезней не пользую, а просто кому чего надо, то и даю. Даже из городу ко мне нарочито ездят люди, травы берут. Хоть и неученая и дальше деревни никуда не бывала, однако знаю, где нужную травку найти и к чему ее приспособить». Тут и показала она мне их большой пучок. «Вот, — говорит, — травы, коли сердце болит: наперстянка и горчицвет, да багульник, боярышник и желтушник. А вот от живота: очиток, и льнянка, и вьюнок. От кашля: алтейка и душица, да первоцвет, мать-и-мачеха. Но пуще всего ищу я типун-траву!» Мне даже смешно стало: «Это что же, трава такая — типун? К чему она? Уж не от нее ли типун на языке бывает?» Баушка лишь головой покачала: «Экой ты! Небось, про такую траву никогда не слыхал? А знать-то про нее надо, и ежели где она повстречается, выдрать и сничтожить. Я вот хожу по полям-то, свое дело сполняю, да всюду смотрю: не появился ли где-нибудь «волчий глаз»? Это я так ее цветки называю, они по ночам злым зеленым огнем горят».

Может, и не запомнился бы этот разговор с Рябушкой — мало ли бывает-то всякой всячины. Да и в житье нашем деревенском полно забот. Хлеборобство — дело великое! Через него весь народ кормится. Вот как вешние воды с полей сойдут, появится на угорках первая прозелень, и когда земля под солнцем прогреется да взвьется над ней жаворонок и запоет свою песню, с тех пор даже никаких иных мыслей нету, как лишь о хлебе. Так до самой осени покою не знаешь. За вёшней подступит сенокос, потом жатва и молотьба. Изза забот не замечаешь дворовых ворот! Ну и баушек-то в деревне не одна лишь Рябушка. В каждой семье своя есть. А случилось так, что ночевали мы как-то в поле вместе с дедом Федюней. Ночь опустилась темная, без единой звездочки. Кони наши паслись подле балагана, тут ярко костер горел, а мы сидели у огня на чурбаках. Мне что-то просто к слову пришлось про Рябушку промолвить. Тогда вот и довелось о ней сказку услышать. И о типун-траве.

— Рябушка-то, небось, уже давно второй век живет, — сказал дед Федюня. — Я еще парнишкой был, а ее уж и в ту пору баушкой звали. Родни-то у нее здесь никого нету. Проживает она тут не полный год, а только с вёшны до осени. Потом, сразу после жатвы хлебов, куда-то девается. Бают люди, что в гору уходит. На всю зиму там сама себя закрывает. Гора сплошь каменная. У самой речки. А речка тихая, берега у нее по левую сторону пологие, по правую — крутые, и растет на них лес густой. Сколько до того места верст, поди-ко, не меряно, но за один день на телеге не доедешь и пешком скоро не дошагаешь. Рябушка, как время настанет уходить, вот этак ладошками хлопнет, и в тот же миг выбегает ей навстречу из соснового подлеска марал рогатый, берет ее на спину и мчит.

Шибко ловкий был дед Федюня сказки-то сказывать. Как поведет, как начнет узоры плести — только диву даешься!

По тому, как он говорил, баушка Рябушка родом-то была не здешняя, а с предгорий, что ли.

Любила она в молодости рукодельничать и в междуделье по лесам бродить. Отец даже предупреждал ее:

— Ты, девка, далеко не ходи. Ягод и груздей можно, поди-ко, и на ближних увалах набрать. Невзначай наживешь себе лиха!

— Кому я нужна, небаска́я-то! — отвечала Рябушка. — И взять с меня нечего — одежка бедная, самотканая.

Никто, впрочем, даже и догадаться не мог, что в лес-то ее не только дело манило. Ягод да груздей приносила она завсегда много, а с том, чем еще занималась, помалкивала.

Вот если бы удалось тогда подсмотреть за ней, то узнали бы люди, что девка она не простая.

Заберется подальше в трущобу, на облитую солнечным светом еланку и почнет сама с собой вытворять: этак вот встанет лицом к свету, полушалком взмахнет и сразу весь облик меняет. Лицо у нее становится чистое, как молоком отмытое, а вместо самотканой одежды — платье нарядное, золотыми паутинками простроченное, серебряными цветками изукрашенное. Второй раз полушалком взмахнет, враз откуда-то из-под камней ручей зажурчит, и в ту же пору выбегает к нему марал, чтобы прохладной воды напиться.

Отец-то Рябушку лишь вырастил. Сам он бездетный был. Вот этак же бродил как-то по лесу и под кустом черемухи ее в зыбке нашел. Висит зыбка на ветках, от ветру качается, а поблизости ничуть-никого, ни единой живой души. Взял он тогда девчущку к себе домой, пуще чем о родной заботился И совсем ему невдомек было, что имела она марала — брата родного.

Так и встречалась Рябушка с братом-то, прохладной водой поила, а потом с ним в пляску пускалась. Натешатся, наиграются, сколь надо меж собой набеседуются, и уж тогда каждый в свою сторону разойдутся.

Подступило, однако, время девку замуж выдавать. Ждут-пождут в дом женихов, а никто не идет, не едет, все сватья с женихами двор минуют. Иная бы девка от стыда не знала, куда деваться, но Рябушка и бровью не вела. Отец-то, бывало, горюет, а она, знай, песенки попевает и, чуть свободная минутка, в лес бежит.

Лето уж кончалось. Вот пришла она однажды на свою еланку, полушалком взмахнула, в наряд дивный оделась и собралась было брата-марала позвать, как почувяла вдруг: кто-то глядит на нее. Обернулась и обмерла. Возле еланки, под рябиновым кустом, молодой парень стоит. Кудри-то у него из кольца в кольцо, брови черные.

Взял ее тот парень за руки и увел еще дальше в трущобу. Только на другой день Рябушка огляделась, осмотрелась: вокруг — все чужое, немилое. Везде сумрак, сырость, осока резучая, трава ползучая. Неба не видать. Птичьих голосов не слышать. Да и жильё поганое: не изба, не сарай, а больше похоже на землянку, кою топят по черному, без трубы. Ни печи, ни полатей. Вместо стола посреди избы брошен пенек сосновый, вместо лавки — бревно осиновое. А на бревне-то, по всему видать, ее муженек сидит и кедровые шишки лущит. Вгляделась она в него, и опять оторопь будто насквозь ее пронзила. Это же Лиходей! Лицом-то чист, да телом, что трубочист! Никогда в жаркой бане не парится, в воде не полощется. С виду вроде бы добрый человек, но язык у него злой: слово вымолвит — как в душу ужалит. Где появится, там горе лихое. То молву пустит худую, то ребенка сглазит, на доброго мужика напраслину возведет, клязгу сочинит, то соседей, дружных между собою, поссорит, или от парня его зазнобушку отвратит.

«Вот так попалась я,— чуть поправившись от испуга, подумала Рябушка.— Не смогу я жить с Лиходеем, ненавистен он и шибко много зла людям творит. А как убежать отсюда? Брат помог бы, но ежели Лиходей дознается, погубить его может. Видно, уж придется мне на крайнее средство решиться...»

Взяла она свой полушалок заветный, пополам его разорвала, потом одной половинкой себя укрыла, а другую-то на землю бросила, ногой по ней топнула и крикнула Лиходею: «Сгинь, сгинь, проклятый! Ни света тебе ясного, ни света луночного!» И провалился он вмиг под землю, а на том месте вдруг речка тихая потекла и большая каменная скала воздвиглась. Посмотрела Рябушка на свое отражение в заводи и запечалилась — сама-то почти баушкой стала: волосы словно куржаком охватило, по лбу и по щекам морщинки прорезались и, вместо дорогого наряда, опять все самотканое.

И осталась она тут жить, горе свое терпеть. А вскоре родилась у неё дочь. Горя-то еще больше прибавилось. Всяко старалась Рябушка ей любовь и добро внушать, рукодельничать учила, чтобы никакое дело у нее из рук не падало. Ну, и баловала ее, понятно: одна дочь — вся радость! Она-де не виновата, что отец был худой! И про Лиходея как-то нечаянно ей промолвилась. Дескать, он всю жизнь мне испортил, так хоть ты будь усладой!

А девка выросла вся в отца. Поглядишь сыздали — глаз не отведешь: черные волосы кучерявые, длиной аж до пят, брови выгнутые, взгляд пронзительный, а поближе узнаешь — зла, своевольна, завистлива сверх всякой меры. Робить так и не научилась, только у речки сидела и собой любовалась. Да по ближним деревням повадилась бегать. Сглазит парней-женехов, те и маются, от невест от-

казываются, сохнут по ней. Ей лишь любо! Материного брата-марала начала обижать. Призовет его мать-то, чтобы прохладной водой напоить и повидаться с ним, а девка-лиходейка сядет на него верхом и понужать кнутом примется.

Терпела Рябушка все это, а наконец поняла: с девкой-то сладу нет, нельзя ее в люди пускать. Вот и сама-то от нее уж извелась, совсем баушкой стала. И припугнула:

— Перестань лиходеить. Не то накажу! Ох, типун ты мой, болячка на сердце.

Та посмеялась лишь над старухой, потешилась, а не унялась.

Рассердилась тогда на нее Рябушка:

— Выходит, зря трудилась я, ночи возле тебя не спала, из болезней выхаживала, поила-кормила, лучший кусок хлеба тебе отдавала. Змея ты лохматая...

Да в расстройстве таком и топнула ногой по земле. Тут ахнула было, а уж поздно, не воротишь: девка в змею превратилась — тело гладкое, а голова вся черной косой укрыта. Зашипела змея и сразу же уползла куда-то. Кинулась Рябушка ее искать, чтобы изловить и людей от нее оградить, весь лес вдоль и поперек взяла, а после змеи даже следов не осталось.

Мало времени погода стали люди в деревне поговаривать между собой, какая-то, дескать, в Суходоле, — это в самой дальней полевой ложбине, — типун-трава появилась. Сама травка тонюсенькая, видом черная, притронешься, как крапива жжет. А цветок у нее распускается лишь по ночам. Этаким зеленым цветком, злой, будто глаз волчий, светится. Глядеть страшно! А поглядишь, так душа заноеет, защемит, покоя себе не найдет. Тоска навалится. Не радуется ничего. Все не мило. И вдобавок зависть к другим людям одолевает.

Сговорились мужики, литовки наточили и все то место Суходола, где типун-трава росла, выкосили. Через неделю она снова поднялась. Уж после этого всем жителям было сказано: Суходол стороной обходить. Ну, сколь ни береглись, все ж таки беду испытали. Больше всех при этом Аникею Уразе досталось.

Аникей-то жил по-соседски с Афоньшей Блиновым. Оба мужика молодые, сильные да веселые и дружбу вели давно. На праздниках, бывало, всегда гуляли одним застольем. А вот через ту типун-траву чуть навеки не разошлись.

Их парнишки как-то летней порой в лес бегали за грибами. Афоньшин сынок вечером вернулся с полной корзинкой, а Аникеев где-то отстал, заблудился. Спросил Аникей:

— Ты где моего Гаврюшку оставил?

— А в Суходоле мы с ним были, — ответил парнишка. — Там в перелесках грибы еще никем не ломаны...

— Ох, шальные вы! — заругался Аникей. — Ведь было же велено туда ногой не ступать...

Однако, делать нечего, — надо Гаврюшку искать. А ночь наступила непроглядная. Собрался Аникей, и Афоньша Блинов с ним вместе пошел. Небось, до полуночи они вокруг Суходола бродили, Гаврюшку звали, а потом уговорились, березовые колки, что по Суходолу толпятся, тоже оследовать. Афоньша зашел в один колок, Аникей — в другой. Пока близко были, перекликались, дальше не слышно стало.

От дерева к дереву шел в темноте Афоньша и тут на Гаврюшку наткнулся. Парнишка с испугу на березу взобрался, привязал себя кушаком к сучку. Снял его мужик, поругал для порядка, затем вывел на поляну, стал Аникея звать. И кричал, и свистел — в ответ ни звука. Глухая тишина в лесу. «Ну, — подумал Афоньша, — это уж наверняка что-то неладно!» Оставил Гаврюшку на месте, приструнил: ты-де не смей никуда с этого места даже шагу ступать, а сам побежал бегом в тот колок, куда Аникей отправился.

Между тем Аникей у опушки колка стоял. Сонный будто. Стоит и голову книзу клонит. А в подлеске, посреди травы, что-то зеленое светится. Афоньша сразу сообразил: типун-трава цветет. И смотреть туда не стал, отвернулся. Толкнул Аникея: «Пробудись же ты, скинь с себя одурь-то!» Тот покачнулся, чуть не упал, да забормотал и руками начал по кустам шарить. «Ах ты, вот ведь приключилась какая оказия! — ужаснулся Афоньша, но друга не бросил, взял его себе на плечи, вынес подальше на угорок, начал отхаживать. Пока так канителился с ним и за Гаврюшкой присматривал, от холодной росы весь промок, застудился и в тот же день, как дружка домой предоставил, сам занемог.

Вскоре Аникей оклемался,* только уж трудно было его узнать. Такой весельчак бывал, а тут вдруг и на людей перестал смотреть, ни с кем не здоровается, хмурый, злой, как с похмелья. Жену до слез довел, Гаврюшку чуть со двора не прогнал. И Афоньшу, небось, добрым словом не вспомнил. Мало того: со зла и с зависти у Афоньши в поле хлеба испортил. У них хлебные-то полосы рядом были. И сеяли они вёшной пшеницу совместно. Но у Афоньши колос пшеницы оказался увесистее, а у Аникея похуже. Так и не дал хлебам на полосе у Афоньши дозреть, прежде поры их скосил.

Чужой стал людям-то, начали мужики его избегать. Он все у себя дома торчал, как медведь в берлоге. В одиночку-то шибко затосковал, а с тоски загулял. Но и гулянка пошла не в радость.

Перед ним полон стол еды и закусок всяких, в двухведерной

* О к л е м а л с я — поправился.

корчаге медовуха кипит, а пить-есть, окромя него, некому, хорошую песню на два голоса спеть не с кем.

Вот он так день просидел, второй и третий день, а потом забаву придумал. Привел в избу саврасого коня со двора, поставил его к столу и давай-ко его всяко чествовать. А савраске лишь покормиться бы: он из-за гулянки хозяина два дня пробыл в конюшне не поен, не кормлен. Как приложился к еде-то, шанежки и кралечки масляные, да соленья-варенья тотчас прибрал и поверх еды полкорчаги медовухи выпил. Захмелел с непривычки, възиграл без ума: и гогочет, копытами об пол бьет, лягается. Аникей успел лишь на полати залезть и там отсиделся, покуда конь буянил.

После того опять стало горестно. Так петуха поймал. Уж и на-тешился у него петух-то! Сначала лапами по столу заскребал, вскрикивал, кур звал, а как медовухи нахватался,— закукарекал. Крылья этак в стороны распустил, шею выгнул, клюв кверху и что есть мочи: ку-ка-реку!

Выбросил его Аникей, стол опрокинул и заревел:

— Это что же такое? Жить неохота!

На улицу выбежал. Кричит. Мечется. Рубаху рвет на себе.

В эту пору и появилась у нас в деревне баушка Рябушка. А большой Афоньша Блинов у окошка сидел. У него с простуды ноги не двигались.

Подошла эта баушка к окну и Афоньшу спросила:

— Дурной, поди-ко, сосед у тебя. Эвон как мучается.

— Спорченный,— Афоньша сказал.— На цветок типун-травы по-глядел...

— Вроде не знаю такой травы.

— Да и мы не знали. А появилась откуда-то.

— Какова она видом?

— Стебелек черный, а цветик зеленый.

Баушка даже руками всплеснула: «Ай-ай, вот она где!» Афоньша хоть и удивился ее словам, но спрашивать ни о чем не стал. Зазвал в избу, чаем напоил.

— Пусть-ко твоя жена баньку истопит,— сказала баушка.— Парю я тебя веником березовым со смородинным листом. Надо прежде простуду из твоего тела выжить...

Еще больше удивился Афоньша, когда после бани на лавке по-лежал, охлынул и встал, как ни в чем не бывало. Спросил баушку: как, дескать, тебя звать-величать, да чем тебе за добро ответить?

— А звать-то меня просто — Рябушка,— сказала она.— И никаких благодарностей мне от тебя не надо. Я тем и довольна, что тебе помогла.

— Может, ты и Аникею поможешь? Друг он мне. Жалко мужи-



ка. Злым и завистливым прежде он никогда не бывал. Так нельзя ли с него порчу снять?

Подумала Рябушка, поглядела в окошко на Аникея, как он там у своего двора бегаёт и тоскует, кулаком кому-то грозит, ругается.

— Помогу беспременно. Знаю я, что это за типун-трава и откуда она в Суходол явилась. Но одной-то мне не управиться с ней...

И посоветовала она Афоньше сейчас же, пока Аникей во дворе не закрылся, собрать всех мужиков — ближних и дальних суседей.

Часу не миновало, как мужики собрались. Тогда Рябушка велела и Аникея привести. Не шел он сначала, Аникей-то: нечего, дескать, мне на вашей сходке делать, — но Афоньша все ж таки заставил его. Привел к мужикам.

— Ну-ко, поясни, по какой такой причине ты мне хлеба в поле испортил? И пошто у себя во дворе дуришь?

Куда ни повернется Аникей, а со всех сторон на него мужики-суседи глядят с укором. Его даже в пот бросило. Пришлось-таки взгляды их неприветные выдержать, и слова выслушать от них горькие, и вину за собой признать, а сверх того согласиться Афоньше урон возместить. Под конец-то Аникей даже повеселел, поклонился мужикам: дескать, ладно вы меня пропарили, пуще, чем баушка Рябушка в бане Афоньшу лечила. Ну и мужики тоже остались довольны, что зло из него изжили. А для крепости, как бы снова кто-нибудь на типун-траву не нарвался, порешили все место на Суходоле, где она расплодилось, немедля перепахать. Сам же Аникей за это дело и взялся:

— Уж меня-то она во второй раз не испортит, не изурочит. И потружусь, так надольше запомню...

Когда кончили судить-рядить, спохватились: а где же баушка-то Рябушка? Ни в избе, ни в улице ее не нашли. Бродя все время тут стояла, слушала, о чем мужики бают, и так незаметно-неприметно скрылась.

На другой день, чуть свет, запряг Аникей коня, на телегу сабан и бороны положил и скоренько на Суходол тронулся. Едет-помалкивает, про себя думает, как бы с пахотой-то до ночи управиться, пока цветок типун-травы зеленым огоньком не пыхнет. И слышит: кто-то следом за ним копотит. Оглянулся, а это Афоньша догоняет. Друг — так друг. Вдвоем-то, конечно, можно скорее управиться. До полудня успели они все кустарники по Суходолу вырубить, траву выкосить, дерно пластами перевернуть, разборонить. Робили так, даже покурить не садились, но и приглядывались к черным волоскам, с чего они растут: то ли от корня многолетнего, то ли от семечков? Ведь ежели от корня, то надо сабан запускать глубже, а про-

тив семечков лучше сначала палы пустить, спалить всю вредность. И удалось им доглядеть: растет-то она вовсе не от семечков и не от корней, а черные волосы, как повилика, по чистой траве вверх вы-ползают, чужим соком питаются. Взял Афоньша один такой волос, от травы его открутил, потянул, как струну,— и пошел-пошел, куда она поведет.

Так до опушки подлеска добрался. А там, на опушке, пенек бере-зовый, весь гнилой. Волоски-то пучком под него собираются, будто под корнями голова чья-то, а это от нее волосищи вокруг разме-тались.

— Эко диво! — сказал он и хотел было срубить пенек, с опушки выкорчевать, а там, за пеньком-то баушку Рябушку увидел. Шибко печальной она ему показалась.

Спросил он ее: откуда взялась тут и по какой надобности и пошто вечер со сходки ушла?

Ничего баушка пояснять не стала, а поднялась с земли, на па-лочку оперлась да этак тихо-тихо промолвила:

— Под пеньком-то ведь дочка моя скрывалась. Она и волосы свои тут по Суходолу меж трав отращивала, а по ночам на кончи-ках волос злые зеленые огни зажигала. Нету зла хуже зависти, да горше того, чтобы человек от людей сам в себе замкнулся и только сам о себе помышлял. И вот сгнула лиходейка опять куда-то, сно-ва где-то затаиться успела. Опоздали мы ее тут накрыть. Оборвала она свои космы черные. Но вы хорошо сделали, все тутешнее место поганое вычистили.

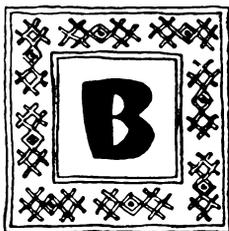
Молвила так и опять исчезла. Однако не на совсем. С тех самых пор бродит-ходит по лесам и лугам, собирает травы разные, для здо-ровья людей полезные, и высматривает: нет ли меж них черных волосков, не горит ли где по ночам зеленый цветок — «волчий глаз», чтобы вовремя его сничтожить.

А для дочери коварной приготовила она сетку железную и в реч-ке, близ скалы каменной, на дне омута бочку стеклянную пригото-вила, чтобы туда лиходейку, ежели попадетя в руки, навек запеча-тать.

Порассказал мне обо всем этом дед Федюня, достал из костра уголек, трубку раскурил и к сказанному-то еще добавил:

— Вот ежели человек с малых лет робить научен, ко всякому ремеслу и доброму делу приспособлен и сверх того дано ему понять, какая великая красота есть в жизни, то любое лиходейство ему не страшно, и сам он плодить ту негодную типун-траву тоже не станет. Небось, баушка Рябушка и сама тут повинна, в своей-то беде. По-думай-ко!...

Анискин родник



от и ночь наступила. Тишина-то какая! Даже собаки во дворах перестали лаять. По всей улице ни огонька: за день люди наработались в поле, теперь спят.

Под угором озеро плещется. Послушай, как песок шуршит... Вот набежала волна, умыла берег теплой водой и скатилась обратно, в глубину.

А может, это озеро сквозь дрему сказку скзывает?

Эвон та-ам, на краю деревни, жил когда-то кузнец Егур. Место, где кузня стояла, уже давно быльем поросло, а худая молва о Егуре еще жива.

Егур был не здешний. То ли из лесу пришел, то ли с каменных гор. Один раз утром смотрят мужики, а на угоре кузня стоит. Стены у кузни саманные, крыша дерном крыта, у дверей — чурбак с наковальной и станок, в коем коней куют. А еще больше диву дались, как увидели кузнеца. Ноги-то у него короткие да кривые, в дугу гнутые, зато руки чуть-чуть не до пят. Эткими ручищами можно любого быка свалить. Ну, и лицом кузнец-то не шибко хорош: коли приснится, страху натерпишься! Мохнатый, черномазый, вроде весь век неумытый, нечесанный, небритый, нестриженный.

И еще заметили мужики, вроде не по-людски работа у него в кузне идет. Подмастерья нет, никто кузнечные мехи не качает, а в горне огонь горит высоко и жарко. Накаленное железо кузнец берет не клещами, а голой рукой. Возьмет из горна, кинет на наковальню и начнет по нему молотками бить: в левой руке — малый молоток, в правой руке — кувалда. Малый молоток так и прыгает, играет, показывает: тук-тук! Дескать, вот тут бей полегче, а тут по сильнее! А кувалда следом за ним: бу-ух! Бу-ух!

Раза два-три ударит — и поковка готова.

Посудачили мужики между собой: кузня-то для деревни была во-о-о как нужна! Много по хозяйству встречалось нужды: то коня подковать, то лемеха к сабану * поправить, то чеку к телеге изладить. Всей нужды небось не перечтешь! Так что это хорошо, коли кузнец появился. Теперь за всякой нуждишкой в другую деревню ездить не станут. Но хорошо, да не очень. Кто он такой, этот кузнец-то? И как случилось, что еще прошлым вечером на угоре лишь крапива росла, а утром вдруг кузня откуда-то взялась?

* С а б а н — плуг.

Наверно, не меньше недели прошло, пока мужики к кузнецу по-привыкли и начали в кузню захаживать. Тем временем кузнец дом с двумя горницами рядом с кузней поставил, обнес его заборами, пригонами, амбарами, и опять-таки никто не видал, кто ему помог. Камень с гор не возил, сруба из бревен не рубил, а будто этакое богатство взял да из кармана вынул.

Потом, немного погодя, стало в деревне беспокойно. Поедет иной мужик в шоле на телеге, а обратно пешком идет: ободья на колесах стали ломаться. Вроде едет не круто, вдруг обод с колеса слетает, вот тебе и тпру-у — дальше на голых-то ступицах не двинешься. И кони стали прихрамывать. Посмотришь коню под копыто, а там гвоздь. На колодцах ведра с цепей стали обрываться. Придет баба за водой, опустит ведро в колодец, там ему и конец.

Собрались мужики, пошумели между собой и решили к Егуру идти. Дескать, ты, наверно, балуешь. До тебя тут было тихо, а как ты объявился, так и пошло все шиворот-навыворот.

Егур послушал их, да и говорит:

— Девку Аниску за меня замуж отдайте! Не то всю деревню разорю.

Аниска была мирская дочь, без матери, без отца. Ее родители где-то в заводе работали, бунт там подняли, так их царские власти в самую далекую Сибирь уpekли. Кто-то из родни привез Аниску в деревню, тут она и прижилась. Выровнялась, выправилась да расцвела — лучше некуда. Ну как глянет, бывало, будто огнем опалит. А начнет плясать, так по всей избе каблуками словно серебряные рубли кладет. Да и проворная же была: шить и прять, ткать, вышивать, кружева плести, сено косить, хлеба убирать. Никто за ней угнаться не мог.

Почесали мужики в затылках. Не дурак, стало быть, Егур-то, ежели этакую девку потребовал. Вот взять бы да всю его кузню по камню раскидать, двор разорить, с ровным полем сровнять. А ну-ка, вдруг беды наживешь? Но и Аниску отдать нельзя. Еще зимой просватана она за своего деревенского парня, за Петрована Антипина. Парень хоть и не удалой, далеко в деревне не первый, а вот поди-ка приглянулся Аниске, выпала ему доля, поймал звездочку с неба. У них на осень, после молотьбы, уже и свадьба была назначена.

Отказали Егуру. Сердись-де не сердись, но по твоей воле сделать не можем.

Егур опять начал донимать: то ветер на гумны напустит, скирды раскидает, то озеро взбаламутит, все сети порвет, рыбу в камыши загонит. Мужики не вытерпели, взялись за колья, окружили кузню: терпеть беду, так уж, на крайний случай, одну!

А Егур снял с горна огонь и навстречу им бросил.

Загорелась трава, по всему угору палы́ поползли — того и гляди, деревня сгорит.

Побросали мужики кольца, отступились.

— Ладно, бери Аниску, коли она согласится:

Пожалела Аниска мужиков, спорить не стала. Только сказала Егuru:

— Сначала попробуй вот эту нитку порви, а потом ко мне сватов засылай.

Подала ему нитку, изо льна пряденую, тонко крученную. Не сильно велика в такой нитке крепость, любой парнишка без натуги порвет, не то что Егур, у которого в ручищах железо гнется.

Намотал Егур нитку на кулаки, рванул, а она, как струна, зазвенела. Он и так и этак пробовал рвать — нет, не рвется нитка, не берет ее окаянная сила.

Мужики сначала посмеялись, а под конец сами удивились:

— Это что же такое?

— Никакого тут чуда нет, — сказала Аниска. — Посчитайте-ко, сколько рук людских потрудилося, пока нитка к Егuru попала. Кто-то пашню пахал, кто-то боронил, один сеял лен, другой полел полоосу от сорной травы, третий лен рвал да на поляну стелил, мочил и сушил. А еще люди этот лен на мялке мяли, куделю трепали, от кострики чесали, пряли его и сучили. Так разве один Егур столько рук одолеет?

Бросил Егур нитку на землю, начал на девку кричать.

— Ты мне за это ответишь! Перейдешь ко мне во двор жить, так ни дня, ни ночи не будешь знать.

Но Аниска опять за свое:

— Ты раньше времени не пугай. Если силой не крепок, то, может, умом хитер. Вот попробуй развяжи узелок. Коли развяжешь — бери замуж, а не сможешь — убирайся из деревни туда, откуда пришел.

После этого взяла она своего дружка Петрована за руку, да и привязала себя к нему шелковой ленточкой, закрепила узелком.

Узелок-то совсем простой, потяни за концы, он и распустится. Мужики ахнули: чего же это она, Аниска-то, в своем ли разуме? И Петрован за нее испугался. Но Аниска повела бровью на парня: не мешай-де, одна справлюсь.

Егур, видно, тоже подумал, что задача невелика. Ухмыльнулся в бороду, взялся за узелок. Туда-сюда потянул, сначала легонько, потом пуще, наконец напрягся — аж плечи хрустнули. Не поддается! Тогда он озлился, как пес, оскалился и давай зубами грызть. А узелок каким был, таким и остался. Притащил Егур из кузни топор, со всего размаху рубанул. И второй, и третий раз рубил Егур,

все лезвие зазубрил, до седьмого поту старался, пока понял, что никогда не одолеть ему эту маленькую, вроде нехитрую, неприметную штуку — узелок! Коли уж связала им себя девушка, то никто его не развяжет, не разрубит, огнем не спалит, водой не разольет!

Кинул Егур топор, и тотчас же угор опустел: ни кузни, ни дома, ни амбаров не стало.

Оглянулись мужики — и Егур исчез.

Похвалили они Аниску за то, что себя в обиду не дала, и решили на той же неделе свадьбу сыграть. Сразу и сваты нашлись, и дружки, и посаженные, и шаферы, и кому с глухим возом ехать, и кому молодых на тройке катать. Бабы тоже мешкать не стали: квашни со сдобным тестом замесили, брагу на сладком сусле завели, пельменей тройных, с луком, с перцем, наделали. Уж коли справлять свадьбу, так чтобы надолго запомнилась!

Ну, окрутили молодых, отгуляли, сколько положено, и опять за свое мужицкое дело принялись.

Сколько-то времени погода стали мужики замечать, вроде озеро от берегов отступает. Сначала плотки, где бабы белье полощут, обсохли. Потом валуны, что лежали под водой, оголились. А эвон с того, заозерного берега камыши от безводья совсем пожелтели. И шумят, бывало, шумят, как осока болотная на осеннем ветру. Утки дикие, гуси и журавли с гнездовой снялись: негде кормиться стало. А озеро, чем дальше, тем больше мелеет. К концу лета совсем высохло. Выйдешь на угор, глянешь: лежит до самой заозерной стороны неживая равнина, вся, как корка сухая, в трещинах и коростах. Мужики, чтобы путь скоротать, стали в заозерную сторону, на поля, напрямик через озеро ездить.

Да и лето стояло жаркое, не в пример прежним годам. На небе ни одного облачка, чтобы хоть от солнышка ненадолго укрыться. На землю, как на сковородку горячую, голой пяткой не ступить. Травы на полях пожухли, и хлеба прежде времени на колос пошли. Им бы еще расти да зеленеть, а они без влаги-то захирели.

Затужили в деревне мужики. Собрались на сборне*, давай судить-рядить. Тут выискался один старик, Дормидонт Тюрик, и сказал, будто озеро не высохло, а Егур его под землю спустил. Мужики было не поверили Дормидонту: дескать, знаем мы тебя, приврать ты горазд, не мели-ко зря языком. Но старик повел их всех на заозерную сторону и велел землю слушать. Приложился один мужик к земле и говорит.

— Правду бает Дормидонт! Гудёт там что-то, наверно, озеро шумит.

* Сборня — место для сходок.

И только он это вымолвил, как из камышей Егур выбежал, загикал, загоготал. Потом вдруг там, где Егур-то стоял, ударила вода, столбом до неба поднялась, взыграла на солнышке радугой. Не успели мужики глаза протереть, как вот уж опять перед ними одно лишь голое озерное дно, сухие камыши.

Ну, после того отрядили они самых крепких парней, наказали от края до края камыши обшарить. Не найдется ли, дескать, то место, где Егур воду под землю спустил? А коли найдется, то нельзя ли ее снова в озеро вернуть?

Запаслись парни топорами, лопатами, на неделю хлеба набрали, в берестяные тuesки сметаны налили да и отправились. Долго их не было. Но как припасы-то кончились, и натошак лазать по камышам стало неважноту, ни с чем вернулись.

Тогда Аниска сказала Петровану:

— Пойди-ко теперича ты, послужи народу. Люди для нас с тобой много добра сделали. Да ведь и Егур-то лютует небожь потому, что я ему в руки не далась.

А Петровану.при такой жене уж шибко сподручно и хорошо дома жилось, идти куда-то в лес, в камыши стало неохота. Он и начал вилить: то вроде ему недосуг, то в пояснице что-то стреляет. Все-таки Аниска собрала его в путь-дорогу, положила в котомку пшеничный калач и вытолкала за ворота. За добро и платят добром.

Выбрался Петрован за поскотину, приглядел местечко под черемуховым кустом и выспался за троих. Побоялся далеко в камыши и в леса забираться. Все равно, ищи не ищи, а куда Егур озеро спрятал, никак не сыщешь.

Только, слышь, Аниска-то не из тех была, коих можно вокруг пальца обвести. Не успел Петрован порог в своей избе переступить, как Аниска разгадала, где он два дня время проводил. Сдвинула брови, посуровела, слушать его не стала, а собрала свои пожитки и со двора долой.

— Живи, как хочешь! Пойду сама с Егуром управлюсь!

Уж вечерело, когда остановилась она отдохнуть. Внизу под угором лежало черное озерное дно, как сковорода на жару прокаленная, а справа — урочище: чернотал да сухие кочки. Чуть этак поодаль, возле чернотала, береза сухостойная, без единого листочка. Как-то в грозу ударила в нее молния, сломила вершину, и с тех пор береза оскудела, стала мохом и трутом обрастать, трухлявиться да дуплиться. В иное время Аниска прошла бы мимо, потому что гиблых деревьев в лесах полно, но тут вроде поблазило ей: шевелится кто-то в дупле! Потом оттуда, из дупла-то, уставилась на нее мохнатая рожка. Егур! Видно, учуял, как Аниска по угору ходит, так и вылез посмотреть. Обрадовался:



— Гы! Гы! Вот теперича я с тобой посчитаюсь. Заставлю тебя по урочищу поплясать, голыми коленками по кочкам поползть да своей кровушкой комаров покормить.

У Аниски по телу-то мороз пробежал, а все ж таки она виду не показала.

— Может, и попляшу,— говорит,— но пока не об этом речь. Скажи прежде, куда ты озеро спрятал?

Егур опять загыгыкал.

— Где стоишь — там оно, под тобой, на десять замков закрыто. Туда, к озеру-то, через это дупло попадешь, а оттуда не выйдешь. Никто замки не откроет.

Пока Егур грозился да хвастался, Аниска ухватила его за бороду, выдернула из дупла, оседлала и спутала веревкой-то по рукам и ногам, как старого мерина.

— Вот,— говорит,— сам сначала по урочищу попрыгай да не вздумай к нам в деревню ворочаться, не то привяжу в огороде к пряслу — ворон пугать!

Потом время терять не стала. По дуплу-то спустилась под землю, мало-помалу притерпелась к темноте и заметила: впереди вроде огоньки горят. То вспыхнут, то погаснут. На поверку оказалось, все это не огоньки, а камни всякие, самоцветы. Еще дальше, в расщелинах, вода шумит, мечется, пенится, а прорваться наружу не может: расщелины замками закрыты накрепко. Каждый замок сделан наособицу: один отомкнешь, над другим призадумайся!

Ну, слышь, зря говорить не стану, я там не бывал, замков не видел, и как их открывала Аниска, никто не ведает. Одно доподлинно знаю: она их разгадала, тайные пружины разыскала.

Лето и осень прошли, потом зимние вьюги кончились, уж и ручьи отжурчали, как вдруг хлынула из-под угора вода, затопила камыши, старицы и плеснулась эвон у тех дальних берегов.

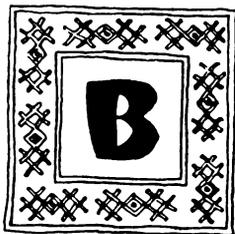
Долго ждали мужики, не появится ли Аниска, не выйдет ли из-под угора...

Нет, не вернулась! Ходили слухи, будто выпустила она озеро из-под земли, а сама куда-то в заводы ушла, где прежде ее родители жили. Иные рассказывали, будто встречали в урочище старуху седую, похожую на Аниску. Стережет она ключ, родничок прохладный, что и сейчас еще течет под угором и питает озеро чистой водой.

Родник, через который Аниска из-под земли воду выпустила, так потом и назвали по ее имени.

А озеро-то! Послушай-ко: плещется оно в песчаных берегах. Вот опять набежала волна, умыла берег и скатилась обратно, в глущь.

Таловая дуда



се парни в деревне были ладные, а Данилко словно топором вытесан из корявой березы. И лицо с изъяном: на щеках будто мак рассыпан — веснушки голимые. Девчата его за жениха не считали. На лужок соберутся — в его сторону даже не взглянут. Начнут кадрили плясать — так и в круг не пустят. А Маришка Потапова прямо в глаза насмеялась. Дескать, не годен ты никуда: ни пахать, ни боронить, ни душу веселить. Попробуй-ко возьми такого в мужья, от стыдобушки из дома не выйдешь.

Ей самой-то было легко. Цвела она, как таволга на лесной елани. Сразу и не разберешь: то ли цветок распушился, то ли косы девичьи по плечам рассыпались!

Много раз пробовал Данилко сватов к ней посылать. Придут сваты, а она им веник-голик вынесет и дальше порога не пустит.

После того перестал Данилко на игрищах бывать и нанялся в пастиухи. Набрал стадо коров, хлопунец* конопляный сплел, из таловой ветки дудку смастерил, да и начал батрачить. Бывало, не успеют еще петухи утренней побудки закончить, как Данилко уже по улицам ходит, хлопает хлопунцом, стадо собирает, а потом пасет его до поздней вечерней зари, пока сумерки на землю не спустятся. Только и радости было — дудка таловая. Послушает он, как чибис над бугром кричит, как в болотной воде камыши шуршат, кузнечик свиритит, листья в осиннике шепчутся, и все, что услышит, на дудке сыграет, да еще от себя добавит. Вот над поскотиной** словно теплый ветер чуть слышно пролетел, зазвенели по травам бубенцы, вслед за ними будто Маришка свой голос подала, ласковым именем назвала. Тосковал по ней все-таки!

Однако в народе так говорят: ты, пастиух, в дудку-то дуди, но за стадом в оба глаза гляди! Один раз Данилко сплоховал. Была в его стаде коровенка из богатого двора. Иные коровы в ложбине лежат, жвачки жуют, а эта Пеструха в лес норовит.

И все же сбежала!

Данилко болотины-мочажины обошел, каждый ложок осмотрел, даже ближнюю рощу обшарил. Нет нигде!

Ну, уж без шума не обошлось! Богачи-то, бывало, умели три

* Хлопунец — пастиухий кнут.

** Поскотина — выгон, пастбище.

шкуры сорвать, а за Пеструху хозяин мог голову снять. Сыщи, дескать, не то лучше домой не кажись!

Но горше всего, что при этом Маришка была. Стоит у ограды, смеется:

— Вот так пастух!

Понурился Данилко, вернулся сначала в поскотину, а оттуда еще дальше, в Черную дубраву. Коли искать коровенку блудливую, так только в дубраве: там, между колками*, рожь колосится, а на елянях визиль, горох заячий, донник пахучий и всякие медовые травы. Только страшно ночью одному в тамошних местах. По деревенским поверьям, водились в них Лешак, Буканко и прочая нечисть. За каждым кустом в темноте что-нибудь блазнит. Кто-то плачет в лесу, ухает, стонет, гогочет. Не разберешь: то ли человек, то ли зверь, то ли птица ночная.

Так далеко за полночь и блуждал Данилко по Черной дубраве. Устал, дальше идти мочи нет. Выбрал он полянку, сел на пенек. Дай, думает, отдохну, пока что сыграю: может быть, Пеструха услышит дуду, отзовется.

Да вот только поет дудочка что-то невеселое. Вроде дождик осенний моросит, холодно, никак не согреться. С ближних берез листья начали падать. Сорвется листик и тихо-тихо на землю ляжет, заснет.

Коростель перестал скрипеть. Филин за зайцем гнался, охоту прекратил и обратно в гнездо вернулся. Ой, дуда, ой, дуда!

Этак-то играл Данилко и совсем не заметил, как на полянке крохотный огонек пыхнул, за ним другой, третий, и вот уже вся округа заполыхала зарницами. А из травы поднялась метелка цветов чемерицы, приоткрыла широкий лист, и на том листке девушка появилась.

Сама-то мала, да одета богато: весь сарафан из соцветий алых!

Постояла она, посмотрела на Данилку, головой покачала:

— Ты пошто меня, молодец, разбудил? За каким делом тут оказался?

Данилко чуть дудку не обронил. Вот так оказия: с неба, что ли, эта девица свалилась? А всмотрелся в нее, каков у нее сарафан, да лицо какое приветное, и как жарким горчицветом глаза горят, так сразу и понял, с кем встретился. Ведь в деревне Полевушку-то всякий знает. Кто полюбится ей, у того с пшеничных полос такой умолот соберется, чего иной год и черные пары не дадут.

Ну, мало-помалу рассказал ей Данилко обо всем: вот-де фигурой неказист, лицом нечист, сладких речей девкам сказывать не умеет,

* Колки — рощи.

силенкой слаб, да к тому же бедняк, оттого и смеется над ним Маришка. А тут не ко времени еще и коровенка в лесу затерялась. Совсем беда!

— Ладно, хватит печалиться! — Полевушка промолвила. — Гнет тебя нуждишка в дугу, а ты гнишь, но не ломайся. Подними-ко брови да взгляни веселей! Не дал ты мне сны досмотреть, так помоги теперь время до утра скоротать. Плясать хочу!

— Плясовых-то песен я и не знаю, — ответил Данилко.

— Этому научиться недолго! Ну-ко, давай!

Встала она перед ним, подбоченилась, краешек сарафана рукой приподняла, притопнула каблучком. Тут и дуда взыграла: будто брызги из нее брызнули, а потом ветер налетел, завихрил, закружил: «Ой, дуда, ой, дуда! В огороде лебеда. Лебеду я литовкой скошу, про нужду никому не скажу!» И еще жарче: «Топ-топ-перетоп! На еланке конотоп. Конотоп я коровам скормлю, на еланке кадрили спляшу!»

Не утерпел и Данилко: плечи расправил, встряхнулся, да и пошел следом за Полевушкой в пляс. Она-то мелким шагом идет, словно бисером сыплет, а он, как сокол, летает.

Вскоре утро забрезжило. Сизый туман попрятался в заросли талов под коряги и корневища.

Нагешилась Полевушка, платочком утерлась:

— Экой ты парень удалой!

Данилко и без ее похвалы сам себе удивился. На поверку-то выходит, зря его девки хаот, ничуть он не хуже иных дружков-молодцов. Не было у него случая этак повеселиться, да и пары подходящей для пляски на находилось, вот и не знал за собой никакого удалства, сторонился, совестился, жил вроде сверчка за печкой. Но Полевушка, хоть и назвала его лихим плясуном, все же задумалась:

— Каблуками дробить, пожалуй, не шибко мудрено. А попробуй-ко против силы устоять!

После того хлопнула в ладошки, какое-то слово сказала, и тем же мигом явился на полянку Ветродуй. Тот самый, что ветряки на мельницах крутит. От плеча до плеча — косая сажень, ручищи длинной с оглоблю, бородача ниже колен с желтинкой, как степной ковыль.

Опустился он на корточки, ручищами-то в березы уперся, да ка-ак дунул, сколь мочи есть... И пошел низовой ветер травы на землю стлать. Молодой подлесок согнулся. Камыши припали к воде. Сушняк затрепал. В дуплах завывало, засвистело. В рощах будто колокола загудели.

Ветродуй еще раз дунул, а потом разохотился, разошелся и начал дуть без остановки, вроде наконец-то забаву нашел.



Тут уж не только подлесок, но и старый лес начал шуметь.

Поначалу Данилко на ногах не устоял, упал, как подкошенный. Картуз ветром с головы сорвало и понесло-покатило невесть куда. Глаза затмило. На понитке ни одной пуговицы не осталось, по оголенной спине холод пробежал.

А дуда под ветром-то словно голос подала: «Топ-топ-перетоп! Кто смелей, тот сильней!»

Может, это вовсе и не дудочка таловая, а сама Полевушка промолвила. Данилко толком не понял, но как услышал эти слова, сразу весь подобрался, как, бывало, в деревне перед кулачным боем. Дескать, не может того быть, чтобы Ветроудуй против человека устоял. Только вот неполадка: запросто, на кулаках, сходиться с ним несподручно, близко никак не подойдешь. И на кушаках не поборешься: у него, видать, кушака никогда не бывало. Пожалуй, лучше всего схватиться за воротки.

Поднялся он с поляны, лицо полой понитка от ветра прикрыл, кинулся вперед и сгреб Ветродуя. Тот сразу дуть перестал, подпрыгнул на месте, хотел Данилка от себя оторвать, да уж нет: попал очень крепко! Ну и начали они друг друга книзу гнуть. Раза два Ветроудуй хотел подножку подставить. Только колени согнул, а Данилко тем временем изловчился и грохнул его на спину, а следом и сам навалился.

Полевушка-то сначала смеялась: любо ей было, как два молодца бока мнут, а потом видит — дело неладно, надо Ветродуя выручать. Опять какое-то слово сказала, в ладошки хлопнула, и Ветроудуй сразу сгинул, вроде его тут и не бывало.

Данилко даже осерчал:

— Что же ты,— говорит,— мне помешала во всю силу взойти!

— Потому что ты крепче его. Небось, даже лютый Сиверко, супротив тебя не сдюжит! — сказала Полевушка.— Была бы я девушкой деревенской, так только тебя, а боле никого, женихом бы назвала. А вот за то, что потешил ты меня, награжу, чем могу. Выбирай себе подарок любой!

Тряхнула она фартуком, посыпались на поляну всякие цветы. Накидала их Полевушка и стала Данилке объяснять, будто цветки-то совсем не простые. Дескать, каждый из них чем-нибудь человеку служит. Хочешь клад найти — сорви цветок желтый. Красный пожелаешь — невесту богатую возьмешь. Цветок стародубки приглянется — значит, до ста лет проживешь. А коли хочешь всю жизнь на мягкой перине спать без забот, то возьми одуванчик нежный. Живут-де на земле люди каждый по-своему, у всякого радости разные, потому и цветки один на другой не похожи.

— А по мне, краше Маришки нет ничего,— ответил Данилко.

— Ну, тут я тебе не помога,— отозвалась Полевушка.— Коли захочешь, то сам тот цветочек добудешь!

Как раз в это время кукушка прокуковала: ку-ку! Посветлело небо. Из края в край пробежала по нему утренняя заря, и где ступала она, там след оставила, словно спелую малину ногами растоптала. Вскоре и солнышко над лесом показалось. Веселое: видно, хорошо выпалось, умылось водой ключевой, парного молока напилося! Того и гляди скажет: «Э-э-эй! За дело берись поживей! Летний-то день год целый кормит!»

Полевушка ручкой помахала Данилке, подобрала подол, чтобы пятками на него не ступать, да и побежала на хлебные полосы.

А Данилко задумался: «На что Полевушка намекнула? Вот таловую дуду своими руками изладил, научился на ней играть. Этими же руками Ветродуя поборол. Значит, захочу, так любого удальца положу на обе лопатки. Пашню могу пахать. Дрова рубить. Прясло городить. Сеять. Траву косить. Сено в стога метать. И дом построю. Даже, коли понадобится, то и в небо на крыльях взлечу, как птица сокол, а может быть, еще и выше его. Выходит, правда: все у меня в руках!»

С тем и вернулся домой.

Еще в загумнах вынул таловую дуду, приложил ее к губам: «Ой, дуда! Ой, дуда! Лихо горе — не беда!»

Бабы в это время гнали коров в пастушную. Как увидели Данилка, так диву дались: вроде тот же он, а отчего-то и не узнаешь его сразу. Ростом стал выше, в плечах раздался.

Хозяин Пеструхи из двора с кнутом выбежал. Замахнулся было на Данилка, но тот кнут у него из рук вырвал, кнутовище об колено переломил и в крапиву забросил.

А Маришка в эту пору как раз с озера воду несла. Данилко к ней: дай, дескать, напиток, красавица!

Любая хозяйка могла бы его холодным травником угостить, прямо с погребца, но у Данилка была иная забота: неужто, мол, Маришка, как и прежде, мимо пройдет?

Да нет, не прошла она мимо! Сняла одно ведро с коромысла, своими руками подала. И глаза вниз опустила, засовестилась.

Ну, а вечером, после пастушней, когда сумерки легли, пошел Данилко на лужок. Прежде, бывало, сядет в сторонку и смотрит, как другие-то парни перед девушками силой меряются, песни поют, на балалайках бренчат, гоголями ходят. Теперича Данилко их круг потеснил: вы-де молодцы удалые, да ведь и я вас не хуже! Бороться начали — ни один парень побороть его не сумел, на дудке таловой заиграл — все песенники враз замолчали. Выбрал Маришку, чтобы кадрили плясать, — никто с ним спорить не стал.

В тот же год Данилко и Маришка свадьбу сыграли.

Потом, много лет спустя, когда уже старым стал, Данилко все-таки с таловой дудой не расставался. Поиграет на ней, вспомнит, как с Полевушкой встречался, да и начнет своих внуков учить: все, дескать, в ваших руках и на земле, и на небе!

Дедушкина песня



аушка-то Анна была у нас шибко сурьезная: чуть что не по ней, сразу же за ухват, да ну-ко тем ухватом по спине! А дедка Андриан от греха уходил. Почнет она на него шуметь, так он, слова не говоря, со двора долой.

Этак-то придет, бывало, к нам, сядет в переднем углу на лавку, руки на стол положит, а голову на руки и затоскует.

Лучше деда в нашем селе по портняжному делу мастера невозможно было сыскать. Хоть и не учен был, а глаз имел острый, верный. Любую шубу овчинную, боркован *, пониток так сошьет, будто ты в той одежде родился.

Мерку он и в руки не брал. Посмотрит, повернет тебя раза два перед собой, чуток прищурится и говорит:

— Через неделю придешь, одежду получишь.

Но вот беда: никогда он своей поделкой не был доволен. То будто бы шов положил стежкой неровной, либо рукава чуть косо поставил, то не тем гарусом отдедал обшлага и воротник.

Баушка, бывало, ворчит:

— Поди-ко, иного дела у тебя нет, как только красоту наводить. Мало-помалу сострочил бы одежину, да и с рук долой. Ее ведь не на божницу ставить. Плохая она или хорошая — все равно изнабсится.

По домашним порядкам дед не спорил, а уж тут, по своему-то мастерству, ни в чем не уступал:

— Иволга, залетная птица, несмышленная, но и то посмотри, какие наряды носит. А человек — хозяин земли. Ему нужно все выше и выше брать. Вот бы такую одежонку сшить, чтобы сама собой песня сложилась да чтобы та песня на сердце легла.

Оттого на него и тоска нападала. Как это желание исполнить? В ту пору, известно, кроме овчины, льняных холстов, шерстины домотканой, иных материалов в деревенском житье-бытье не бывало.

* Боркован — шуба.

Один раз все-таки перед дедом удача мелькнула.

В соседнем дворе у Антипа Морошкина дочь Павлинка росла. Дед-то давно замечал, что девка она не простая: мимо паутинки не пройдет, чтобы узор не посмотреть; зря цветок полевой не тронет, а только пальчиком его погладит, полюбуется, как зоревые краски на нем igraют. Да и веретено у нее в руках не дремлет, а крутится и жужжит. И пряжа ровная, без единого узелочка. Потом, как села она шерстину ткать, так было любо поглядеть: ниточку к ниточке кладет, выравнивает, разноцветным гарусом перекладывает.

Дед Андриан уже заранее бороду гладил, прикидывал, как он это полотно шерстяное на портняжном столе разложит, по какому фасону раскрой сделает, где какие выточки наметит, какой иглой начнет стежки строчить. Даже во сне видел, будто идет Павлинка на лужок в новом понитке, и нет ее краше не только в селе, но и по всему нашему уральскому краю.

Ранней весной кончила она ткать, постирала шерстину, вынесла ее в огород на снежный наст подморозить да проветрить. Ночью кто-то в огород забрался и шерстину украл. Лишь следы остались. И уходили те следы не в село, а в лес.

Расстроился дед и решил после этого на всю вёшну и лето из дому уйти, в других деревнях и селах портняжить. Сначала вдоль Течи-реки, а дальше — куда ноги дойдут.

До Течи-то меряных десять верст. Места глухие: леса да болота, озерки да протоки, черноталы, черемушники, обвитые диким хмелем. Проезжая дорога между ними петляет. Потому дед и выбрал путь напрямик, чтобы засветло, пока солнышко за каменные горы не скрылось, возле реки на ночевку остаться.

Да разве запросто, без остановки, по лесу пройдешь? Вот уж почки на березе полопались, каждая веточка оделась в зеленый наряд. Пахнет листом липучим, таловой корой, прелым падаликом, проточной водой. Стародуб желтую шапку распушил. Цветик медуницы из травы голубеньким глазком смотрит. Какая-то птаха малая на ветке гнездышко лепит. Муравьи городище строят. Всего, небось, не пересмотришь, не обмозгуешь, как дивно мир-то устроен.

Так и припозднился дед Андриан. Осталось еще много и долго шагать, а солнышко эвон где, уже над вершинками деревьев повисло.

Перекинул дед мешок с инструментом на другое плечо и только было вышел на торную тропу по обочине подлеска, а тут как раз возле черемухового куста какая-то девица стоит. Невысокая, на вершок-на два пониже Павлинки Морошкиной. Волосы, как у цыганки, из кольца в кольцо, кучерявые, брови от переносья до уха — как вороны крылья. А сама-то она босяком. Чудно!

— Чего тебе надо? — спросил дед.

А девка кудрями тряхнула и пальцем поманила, дескать, сюда иди!

Дед к ней, а она от него. Блиско не подпускает. От одного куста до другого босиком-то, как птица, перелетывает.

Сбила старика с тропы, завертела, закружила. Он уже и разобраться перестал, где какое болото, где колок березовый, где еланка ягодная.

Этак-то бегал за ней, догонял, а потом и догадался:

— Да ведь это Заманиха!

Остановился он, пот со лба стер, потом вынул кисет с табаком. Дай, думает, вот сигаркой побалуешь тогда я ее, негодную, все равно изловлю и за озорство по голым-то пяткам ивовым прутиком отстегаю.

А к тому времени солнышко с неба ушло, пала на землю ночь, на полянах туман закурился, с озерков холодом потянуло, выглянул из-за тучки круторогий месяц.

Заманиха выбежала на елань, распустила косы.

Дед потихоньку с себя поясок снял, изловчился, да и сгреб Заманиху. Потом начал к березе привязывать, чтобы не вырвалась, не убежала.

— Ну,— говорит,— теперича ты у меня получишь награду, да еще и обратный путь покажешь!

Только это вымолвил, как вдруг смотрит девка-то уже опять по еланке скачет, а он сам привязан к березе. Пояс-то крепкий, конопляный, руками не порвешь, а узлы затынуты мудрено.

— Вот непутевая! — потихоньку, чтобы Заманиха не слышала, выругался дед Андриан. — Экую оказию со мной сотворила. Ну, однако, еще потягаемся, у кого смекалки побольше!

Тем временем Заманиха остановилась напротив, уставилась деду в лицо:

— Видела я, какую ты одежду умеешь шить. Коли меня уважишь, домой отпущу, а не угодишь, тут у березы останешься, пока мураши не съедят.

— Ай, ай,— завздыхал дед, будто с испугу. — Из чего же шить? У меня ведь ни шерстины, ни холстины нет. Да еще и без ужина, натошак.

Заманиха в ладошки хлопнула. Стоял дед у березы, а оказался в избе. В переднем углу стол скатеркой накрыт, на столе глиняная миска с горячими щами, блюдо с шаньгами сдобными, горшок со сметаной. Тут же и шерстина раскинута. Дед как глянул на нее, так сразу узнал: та самая, что Павлинка ткала! Но виду не подал. Ладно-де, скроем и сошьем, а кто носить будет, назавтра увидим.

Для начала щей похлебал, шаньгами со сметаной закусил, сигарку выкурил, на всю избу табачного дыму напустил и только потом за аршин взялся. Снял мерки, как положено. Аршин-то прикладывает, а между тем к каждой мерке по два вершка добавляет и усмешку в бороду прячет. Меряет, да кроит, да наперсточком постукивает:

— На чужой-то каравай рта не разевай! Попробуй сама состряпать.

— Чего ты бормочешь, дед? — спрашивает Заманиха.

— Мерки считаю, как бы не сбиться, товар не испортить.

И опять наперсточком: стук! стук!

— Красота не годна, коли душа холодна. Хорошо и без понитка попляшешь!

— О чем ты шепчешь, старик?

— Да вот, слышишь, ниток у меня нет шелковых и гарусу цветного. Бисеру добыть надо. Чтобы все пришлось в аккурат.

Заманиха ногой по полу топнула. Передняя стена избы раскололась.

Наползли со всех сторон пауки и давай скорей да живей пряжу прясть, нитки сучить. Сама Заманиха отодвинула пенек, достала из потаенного места клубки гаруса всякого, а потом зачерпнула в ладошки воды, кинула ее вверх, и вот на портняжный стол уж и бисер посыпался.

Такого богатства дед глазами не видывал, не то что руками трогал.

Сел он шить, а сам чувствует, будто нежданно-негаданно молодость к нему вернулась, и никогда, ни в какую пору не была ему милее работа, чем эта.

Так вот и начала песня сама собой складываться, слово к слову: на длинном стежке — протяжная, на коротком — с припевком, веселая. О том, как ясный месяц по темному небу плывет, звезды мерцают, как река серебрится, а в тальниках, в ольшаниках туманы курятся. И дорога тонкой лентой меж березовых колков вьется. На еланях голубые тени лежат. За Белой горой гром гроыхнул и молния в землю ударила. А потом пала на землю роса, умыла травы, и высоко от земли, под самыми звездами, алая зорька мелькнула.

Как песня поется, так и пониток шьется, будто каждое слово цветным гарусом по шерстине-то вышито: где тальник, да ольшаник в тумане — там гарус темный с синими и серыми отливами, где месяц над рекой — там бисер с искрой.

— Торопись, старик! — понукает его Заманиха. Не терпится ей, охота поскорее в новую одежду вырядиться, к реке побежать на себя посмотреть.

А дед Андриан словно не слышит ее, усом не ведет. Знай, поет песню, иголками орудует, наперсточком постукивает.

Вешние ночи короткие. Скоро уже и звезды погасли. За лесами будто зарницы частые начали играть. Полыхнет зарница и зажжет темное небо пламенем голубым. Полыхнет вторая — букет цветков полевых на тучку забросит. Это, стало быть, зорюшка впереди солнышка бежит, людей будит, всякую нечистую силу прочь с земли гонит.

К понитку-то лишь рукава осталось пришить.

Заманиха из себя начала выходить, на деда злится:

— Поворачивайся, старик, поживее, не то худа себе наживешь!

— А ты под руку не лезь, — отвечает дед. — Вот кончу песню, тогда и последнюю стежку положу.

— Да скоро ли конец той песне придет?

— У хорошей песни конца не бывало.

Заманиха того пуще озлилась: поняла, видно, что старик хитрит. Песня песней, коли надо, пой ее, но с делом не мешкай.

А он нет-нет да и посмотрит на восход: скоро ли солнышко выглянет? С первым лучом станет Заманиха снова простой босоногой девкой и никакого зла сотворить не сумеет. Будет опять от куста к кусту бегать, пальцем манить, только теперь уж никак не обманет.

Все же на всякий случай, чтобы Заманиха не вздумала работу испортить либо пониток из рук утащить, дед Андриан березовый сушок возле себя положил.

И опять песню завел. Шьет, да поет, да ногами притопывает, чтобы тому, кто эту одежку станет носить, радости не вычерпать.

Заманиха по поляне скачет, грозитя. Да вот уж и солнышко из-за горы показалось. Не успело оно на поляну взглянуть, только лишь вершинки берез обласкало, как Заманиха с места сорвалась и, не разбирая пути, через таловые заросли, через подлесок куда-то помчалась.

В тот же день вернулся дед Андриан домой. Перво-наперво зашел к соседу Морошкину, вынул из мешка новый пониток и отдал Павлинке:

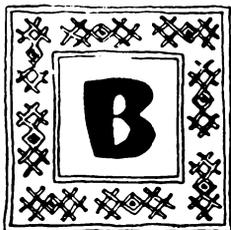
— Носи на здоровье!

Нарядилась Павлинка, по избе прошлась. Деда даже слеза прошибла: красота-то какая невиданная! Неужели он своими руками эту одежку смастерил?! Даже не верится.

Ну, а немного погодя, снова затосковал:

— Все ж таки опять, кажись, сделал не так. Вот и пуговики на понитке можно было по-другому поставить, и воротник иначе повернуть, и гарус по-другому положить. Видно, правда, что у мастера, как у песни хорошей, конца не бывает!

Золотая погибель



один день от нашей деревни до каменных гор на телеге не доедешь, за два дня пешком не дойдешь. Мужики у нас исстари хлебобобы, и редкий из них туда дорогу-то знал. Иной раз приезжали с горных мест смолокуры, привозили смолу и разные поделушки: рогожи лыковые, кадушки для солений. Ну, а от этих смолокуров мужики и узнавали, где что делается. Один расскажет про железные заводы, другой камушек какой-нибудь для поглядения привезет: то бе-

лый, как сахар, то зеленый, то красный, на каплю крови похожий. Смотрите, дескать, какие богатства в горах лежат. А один вот так же приехал и рассказывает, будто где-то возле Ильмен охотники золотые самородки находят. Места, говорит, там еще нехоженые, топкие, и золотишко фартит* часто.

Послушают мужики про такой «фарт», головой покачают, да и забудут. Один лишь Микеша соблазнился. Да и то не от жадности. Парень он был молодой, земельного надела не имел, ходил по богатым дворам, батрачил. И сестренка его, девчущка маленькая, тоже в батрачках жила.

Старики отговаривали: куда, дескать, ты собираешься, зачем? Сторона там тебе незнакомая, да и не знаешь, как золотишко копать. А ведь не умеючи даже бурундучка в лесу не сыщешь, не то что самородное золото.

Но Микеша сказал:

— Мне одинаково ни здесь, ни там не будет сладко, зато, может, что-нибудь да найду. Тогда хоть сестру из батрачек вызволю да замуж выдам.

В ту пору возле Ильмен никаких поселений не было. Всюду стояли леса темные, в междугорьях — озера глубокие. Целое лето Микеша по этим местам блуждал да копушки делал. Выбьет яму в горе, а толку ни на грош. Оно, золотишко-то, может, где-то рядом лежит, но пойди-ко его возьми! Старики правду сказывали: всякое дело надо умеючи делать.

Обносился парнишко, да и хлеба в котомке давно не стало. А ведь пропитание в горах не скоро достанешь. Приходилось ремень потуже затягивать. Иной раз луковку саранки выкопает, дикого чеснока пожует, гриб посолит, холодной водой запьет — тем и сыт. Ночевать тоже приходилось не на печи, а где ночь застанет.

* Ф а р т — везенье, счастье.

Хоть и не под силу была такая жизнь, а все-таки Микеша от задуманного не отступался.

Под осень брусника на полянах под соснами красным соком налилась. Росы холодные начали падать. А Микеша все ходит, копушки делает, голыми руками породу перебирает, но даже следа золотишка найти не может.

Один раз остановился он ночевать. Кругом горы высокие, озеро большое рядом лежит, и на том озере острова. Один остров в озере, как шапка мохнатая: высокий, островерхий и весь лесом зарос. Другой, слева, тоже лесной, но поменьше. А неподалеку от берега, в самой глуби, третий остров — каменная скала. Вершина его в небо уперлась, и ветер там облака гоняет, будто седую бороду треплет. Наверно, про нее и сказано:

Птица-ястреб на ту гору не залетывала,
Быстрый конь не топтал ее копытом кованым,
Сырыми туманами сверху донизу она вымыта,
Холодными ветрами высушена...

Не успел Микеша костер зажечь, как услышал, словно с вершины скалы стон раздался. Посмотрел туда, а там, и верно, человек виднеется. Звать не зовет, только стонет: видно, трудно ему на уступе держаться.

Не стал Микеша долго раздумывать, что да почему. Скинул с себя одежонку, переплыл горловину озера и вскарабкался на вершину скалы. Нашел человека, подал ему руку, чтобы помочь, и отступил: Человек-то стоял по самую грудь погруженный, серым камнем скотанный. Дряхлый, совсем старик. Борода у него отросла длинная, плечи и грудь закрыла, с мохом перепуталась.

Начал Микеша спрашивать, как он сюда попал, из каких мест пришел. Старик сначала молчал, только рукой махал: уходи-де отсюда, и без тебя тошно. Но мало-помалу подобрел, перестал стонать, попросил водички напиться.

Еще прежде Микеша от смолокуров слышал, будто жил когда-то в горах башкирин, по прозвищу Кадыр. И был у этого Кадыра большой талант золото находить. Ударит кайлом, лопаткой копнет — самородное золото тут и есть. Только пропал его талант и ни ему, ни людям пользы не принес.

В молодости, пока золото в руки не попало, был Кадыр приветливый, нескупой. Для друга мог последнюю рубаху с себя снять. А как начал самородки находить, словно подменили его. От отца с матерью ушел, от невесты отказался, мимо старых дружков пройдет — не оглянется, голодной собаке сухой корки хлеба не бросит. Золото домой не приносил, в лесах его прятал, а потом и совсем из деревни в лес ушел.

Выходит, это Кадыр и есть!

Утолил старик жажду водой и сам о своей беде рассказал.

Подошло время, когда начали у него руки слабеть, сила молодая пропала, тяжело стало накопленное золото от чужого глаза беречь. Пока собирал да копил самородки, ни дня ни ночи спокойно не провел. Ну, и надумал он их спрятать, чтобы ни одна живая душа найти не могла.

Выбрал гору повыше. Отсюда, с вершины-то, весь Урал как на ладони видно: и на восход солнца, и на закат, и в ту сторону, откуда Сиверко дует, и в сторону теплых краев, куда осенью косяки журавлей улетают. Леса глазом не окинешь, никакими верстами не измеряешь. И не всякий к этой скале подойдет. Озеро-то часто высокими волнами плещет.

Выбил он для клада на уступе скалы глубокий колодец. Только один крохотный самородочек оставил при себе, чтобы время от времени любоваться им, тешиться.

Управился с делом, собрался уходить, да вдруг увидел, что место оказалось приметное: не заровнялся бугорок над колодцем. Встал на бугорок, начал ногами утаптывать, да и провалился в колодец-то по самую грудь. Самородочек, который он близко к сердцу припрятал, потянул его к кладу. Сколько ни бился Кадыр, не мог из колодца выбраться: не пускает золото!

К тому времени, как Микеша его нашел, многие годы Кадыр на скале стоял и с каждым годом все глубже и глубже в колодец опускался. Ветром его со всех сторон обдувало, солнышком пекло, морозом морозило.

Эх ты, судьба Кадыра,
Судьбинushка!
Как полынь-трава,
Горькая.

Послушал Микеша и говорит:

— Ладно, Кадыр, сейчас я тебя из неволи освобожу. Вот сбегаю за кайлом и лопатой, поручу вокруг камни, тебя выну. Только дай-ка сюда самородочек, что на груди у тебя спрятан. Попрощайся тебе надо с ним, вон выбросить, иначе клад золотой не отпустит.

А старик головой замотал, бородой затряс:

— Не надо! Не трогай мое золото! Уходи!

Микеша, однако, его не послушал. Все-таки спустился вниз, принес кайло и давай камень рушить. Отколет каменную глыбу, столкнет ее в озеро, за другую принимается. Так-то до поздней ночи трудился и только тогда заметил, что труды тратит напрасно. Кадыр еще глубже увяз, наверху только макушка головы видна, а скала закачалась и тонуть в озеро начала. Вот уже и волны озерные под

ногами у Микеша плещут. Вот уж и вода вершины скалы коснулась. Того и гляди, сам вместе с Кадыром погибнет.

Прыгнул Микеша в озеро, поплыл к берегу, а когда оглянулся, никакой скалы не было, вся она под водой скрылась.

Погоревал парень. Жалко было Кадыра. И не потому, что золото его с собой в землю утянуло, а потому, что счастье он на золотую погибель променял.

Всю ночь не спал Микеша, у костра сидел, думал. Был бы у него такой талант, как у Кадыра, самородки в земле искать, уж он-то не стал бы их прятать. Выручил бы сначала сестру, а потом всех бедных ребятшек в деревне от батрацкой доли избавил. Небось, за добро золото человека не тяготит!

С тем и пошел он дальше, в горы.

Мастер Еремей



ыла на дворе ночь, а Еремке не спится. Ворочается парень: то у него спина зачесется, то в носу засвербит, вроде чихнуть охота, то пятки зудят. Он и так, и этак силится уснуть, а сон не берет — хоть глаза зашивай. В окошко пробовал смотреть, но на дворе такая темень, будто окошко смолой замазано. Вставать и слезать на пол неохота. Где-то за большой печью надо лучинки шарить, уголек из печки доставать и раздувать его, иначе в избе не осветишься. Да и холодно

на полу. С вечера, пока железная печка топилась, спина мокла от жаркого пота. Но печка протопилась, а тепла не осталось. Избешка худая, из подпола холодом несет, в каждом углу ветер гуляет. Только и добра, что полати да лежанка. Мать на лежанке спит, намаялась за день.

Поди-ко было парню отчего не спать. Вырос он, как есть, сиротой. Его тятка весь век жил в работниках. Бывало и зиму и лето из батрацкого хомута не вылазит, а подойдет дело к расчету, ну, хозяин ему и насчитает: одно брал, и другое брал, да дугу сломал, вот тебе и расчет — ни гроша, ни шиша! Заворачивай и опять хомут надевай!

Еремка хоть и малой был, а на отца насмотрелся.

Мать иной раз наплачется от нужды и скажет:

— Ты, Еремей, уж не маленький, того и гляди шестнадцатый год пойдет, а все еще дома сидишь. Телушек, что ли, нанялся бы пасти.

А у парня один ответ:

— Лучше с голоду сгину, в батраки не пойду!

Вот и не спалось. Голод поди-ко не тетка. Сколько кушак ни подтягивай, толку не будет. Ежели бы с вечера как следует щей похлеббал, так ничего бы думаться не стало.

А помимо того, еще и погода на дворе разыгралась дурная. Метет, кружит, воеет, снег валом валит, откуда чего берется! И жизнь-то пропадающая, податься некуда, и погода тоску наводит,— какой тут сон!

Ну, лежал-лежал и все-таки задремал.

Вдруг слышит, будто кто-то в окошко шабаршит: поскребет по раме, по стеклу рукой проведет, словно постучать хочет, а не может.

Поднял Еремка голову, высунулся с полатай: и то правда, есть кто-то за окошком.

Агафья тоже проснулась, зевнула, прислушалась и говорит:

— Кажись, стучатся? Не ровен час, в экую па́деру человек заблудился. Иди-ко, Еремей, взгляни.

— Блазнит, наверно,— отозвался Еремка.

— Ничего не блазнит. Не бойся, к нам с разбоем идти некому, взять нечего.

Парень с гвоздя шапку снял, пимешки надел и вышел на крылечко. Постоял немного, все-таки зябко было от страха, однако решился, пробрался по сугробу к окну.

Ну, и верно, вышел не зря! Как раз на завалинке лежит мужик. Руками по стене и по окну шарит, чего-то про себя бормочет.

Помог ему Еремка на ноги подняться. Сам полные пимешки снегу набрал, а все-таки мужика до крыльца дотянул. Тут на подмогу мать выскочила. Затащили незнакомца, раздели, разули, снегом оттерли.

По обличью мужик был не наш, не деревенский: на голове шапка из лисьей шкуры, на ногах сапоги с голенищами выше колен. А поклажи с ним — одна берестяная коробушка, вроде корзины с крышкой. К коробушке два ремешка пришито, чтобы ее за плечами носить.

Согрелся мужик, глаза открыл:

— Благодарствую, добрые люди, не знаю, как вас звать-величать. Замаялся по дороге.

Еремка тем временем чай для дорожного человека приготовил. Натурального-то чаю в избе никогда не водилось, заварку делали из сушеной морковки. Хоть и морковный, а все-таки не простая вода.

Агафья половину калача на утро оставляла. Покряхтела, но делать нечего, достала с полки, выложила на стол.

Посолил мужик хлеб, понюхал, осторожно съел. Видно, понимал: не в богатом дворе в гостях, у самих хозяев слюнки текут.

Мало времени погода, когда прохожий себя чайком ублаготворил, начала Агафья тихонько выпытывать:

— Как тебя по имечку-то звать?

— Звать меня Митрофан,— отвечал мужик.

— А откуда ты, сердешный, к нашей избе прибрел?

— По белому свету шел да к вам и пришел. Ты, тетка, пожалуй, не спрашивай. Напоила, накормила — спать уложи.

Агафье пришлось отступиться.

— Ладно, лезь на полати вместе с Еремкой.

Утром, чуть свет, Еремка березовых дров натаскал, чтобы жарче печку натопить. Падера-то не унялась, свистит, воет, носу из избы высовывать не велит.

Агафья картошки достала, полный чугунок ее наварила. Пора бы гостю вставать, а он, знай себе, спит. Потрясла его за плечо: вставай-де картошку есть, но мужик какие-то слова не по-нашему сказал, повернулся на другой бок и крепче прежнего уснул.

К исходу дня все-таки встал. Свесил ноги с полатей и спрашивает:

— Слушай-ко, Агафья, никто к тебе днем не захаживал?

— А кому тут быть? Кругом гумны да сугробы. В добрую пору гостей не дожدهшься, а в непогодь и по давню.

Баба покосилась на него: уж верного ли человека обогрела? Может, он беглый какой, из Сибири. Греха не оберешься. Начнут таскать да допросы допрашивать. Дескать, кого не следует, не привечай! Только хотела сказать: вот, мол, мил человек, отдохнул и выпался, не пора ли в путь-дорогу собираться, но Митрофан ее опередил:

— Ты, хозяйка, про меня дурное не думай. Я разбоем сроду не занимался. А знать обо мне всякому не положено.

Дня, наверно, через три погода наладилась. Солнышко выглянуло сначала суровое, в рукавицах, а потом ветер с теплой стороны подул.

Как раз суббота подошла. Истопила Агафья баню, щелоку в чугунном котле сварила (тогда, слышь, из золы щелок варили, им вместо мыла отмывались) и говорит:

— Давайте, мужики, в баню, в первый жар идите.

Побаниться Митрофан оказался большим охотником. Наши деревенские мужики париться горазды, а этот парился совсем по-окаянному. Залез на полку, шапку на голову, рукавицы на руки вздел и как начал себя веником охаживать — не подступишься.

Парится да приговаривает:

— Еремка, плесни-ко еще воды на каменку, жару маловато!

Напарился, вылез из бани за порог, посидел на снегу, немного охолонул и опять за веник.

— Ты пошто, дядя Митрофан, так шибко паришься? — полюбопытствовал парень. — Посмотри, как себя укатал, все тело будто кипятком ошпарено.

А мужик усмехнулся:

— Ко мне угар не пристаёт, и жара меня не берет. Я, небось, сибирским морозом насквозь проморожен, в снегу выдержан, студенной водой обмыт, буйными ветрами обдут.

Неделя прошла, потом и вторая миновала, а Митрофан, знай себе, на полатах полеживает и никуда не собирается уходить. На третью неделю поздравил Еремку и спрашивает:

— Вырастешь большой, чего будешь делать?

— Не знаю, — отвечает Еремка. — Робить дома нечего, а в людях неохота.

Слово за слово, и начал мужик парнишке объяснять, что всякому человеку трудиться положено, да только труд разный бывает. Иной человек для себя всю жизнь, как жук в земле, копается, головы кверху не поднимет, на солнышко не посмотрит. Бьется, бьется на земле, от работы сгорбится, а оглянется назад — и порадоваться нечему.

— Взлети, — говорит, — повыше, посмотри пошире, и увидишь ты, как на свете жить, какое себе дело найти. Выбирай дело не лихое, а доброе, для народа нужное.

Любо было Еремке такие слова слушать. Чужой человек, а говорит, будто сына учит. Стосковался парень по теплому слову. Только малость не понял:

— Куда же мне податься? Из деревни, что ли, уйти?

— Тебе и здесь дел не переделывать, — говорит Митрофан. — Коли хочешь, я помогу, чеботарить научу.

— Плохой будет из меня чеботарь. Ни колодок нет, ни шила, ни дратвы, а уж про кожевенный товар и говорить нечего. Небось, голыми руками не сработает. Да и у тебя, видать, не больше моего. Все богатство — берестяная коробушка.

— Одна коробушка, да зато не пустая.

Достал Митрофан коробушку, крышку снял.

— Вот тебе дратва и вар, вот колодки, вот шило, которое само шьет, а вот и молоток — он сам каблуки и подметки приколачивает. Да и за кожевенным товаром далеко не надо идти. Получай, какой хочешь: тут тебе хватит не только себя обушь.

Взял Еремка шило, хотел попробовать, как это оно само шьет, а шило у него из рук выпало. Взял молоток и только кверху приподнял, а тот как-ак его по ногтю ударит! Парень от боли чуть не взвыл. Митрофан смотрит, посмеивается:

— Сначала с шилом породнись, с молотком подружись, а потом за них руками берись.

Шило с молотком не ахти какой инструмент мудреный, а поди-ко им враз овладей! Еремка на ладонях не одну мозоль сносил, пока шило перестало из рук выскакивать, а молоток стал слушаться. Зато наловчился. Посмотришь со стороны, так и верно: шило само тачает, молоток сам каблучки и подметки приколачивает.

Митрофан в одном месте подскажет, в другом подможет, в третьем ругнет, а чаще всего похвалит.

— Ну, парень, в самый раз тебе мастером быть.

Один раз Еремка сказал:

— Не диво простую обувьку сшить. Хорошо бы такую смастерить, которая на ногу тяжелого плясать научит.

Митрофан на это ответил:

— Хорошее желание всегда исполняется.

А на второй день поднялся рано утром, пока Еремка на полатах последние сны досматривал, и молотку и шилу какие-то слова шепотом сказал. Потом достал из-под лавки Агафьины обувки и по шву их распорол, так что на ноги не обуешь и никакой заплатой не зала-таешь.

Проснулся Еремка, а Митрофан к нему с укором:

— Ты чего же, хозяин, за материнными обувками не присматриваешь?

Посмотрел парень. И то правда: пора смену давать. Взял да выбросил эту рвань во двор. После того с материнной ноги мерку снял и не обувки, а модные сапожки скроил. Утром сел шить — к вечеру кончил.

— Получай, мать!

Обулась Агафья — и нужды будто никогда за спиной не нашивала. Начала притопывать да пританцовывать, как девица на выданье.

Глядит Еремка, глазам не верит.

Глядит Митрофан, приговаривает:

— Вот тебе и желание сбывается. Ну, мастер, в добрый час!

К этому времени зима уж к концу подходила. Солнышко начало в небо повыше подниматься, землю прогревать. Вскоре ручейки потекли. С крыш сосульки свесились. Воробьи начали гнезда вить.

В один из таких дней вышел Митрофан во двор, наклонился к ручейку, весенней водицы в ладонь зачерпнул, напился и стал в дорогу собираться.

— Спасибо вам, хозяйева, за хлеб, за соль, за теплый угол.

Агафья и Еремка начали было его уговаривать в деревне остаться, а он лишь рукой махнул:

— Не нужда меня гонит, а большое дело вперед зовет.

При расставании отдал парню весь свой чеботарный инструмент, а на придачу еще и берестяную коробушку ему на плечо повесил.

— В надежные руки отдаю. Шить шилу, не перешить, стучать молотку, не перестучать, а коробушке пустой не бывать, от одного мастера к другому так и идти.

Вымолвил, да с тем и ушел.

За сорок годов, которые мастер Еремей в нашей деревне прожил, ни одного двора не осталось, где бы его сапоги не носили. Сам шил и ребят этому ремеслу учил, чтобы по всей округе разошлись мастера.

Оттого, наверно, с давних пор наши бабы и мужики плясать большие охотники, выйди с ними на круг — не перепляшешь! А уж в ходьбе да в работе и вовсе не осилишь.

Весёнушка



очему, думаешь, весной так хорошо? Почему солнышко теплое и ласковое? Почему цветы начинают цвести? Почему люди в эту пору веселее глядят?

Скажешь, небось: природа облик меняет! Спорить не буду, по науке так и выходит. Поднимется солнышко над землей, разольет над ней свою благодать — вот и пришла весна-красна. А в прежние-то годы (давным-давно!) об этой поре вот какую побывальщину сказывали.

Рассердилось Солнышко на людей. Живут-де плохо, бедно, а почему — вникать не стало: дел и забот у него и без того много. Затянуло небо тучами темными и не стало показываться. Выедут мужики в поле, снимут шапки, начнут Солнышко звать, а оно раздвинет тучи, глянет сердито и опять спрячется.

Ну, кому горе, а холодному ветру — Сиверку только того и надо!

Не в добрый час этот Сиверко у матушки Зимы родился урод уродом и злой-презлой. Хоть шубу надень, хоть тулуп, он все равно к тебе проберется, тепло вывистит, заставит скорее в избу бежать.

Вот как только Солнышко за тучами спряталось Сиверко и разгулялся. Каждое утро начал землю холодом коробить, на полях по молодым всходам белую крупу сеять. А то возьмет да инеем ударит. Ночами в печных трубах гудит, воеет, на крышах пляшет, всякими голосами на баб и на малых ребятшек страх нагоняет. Мужики, чтобы отпугнуть Сиверка, на полях навозные кучи жгли. Да где там! Разве его дымом проймешь! Прочихается и опять за свое дело берется.

Как раз в это самое время жила в наших местах одна старушка. Ее мужика еще в молодости к царю в солдаты угнали.

Старухе, понятно, было тоскливо. Вот и приголубила она сиротку, побирушку мирскую. Девчущка была славная, с полуслова бабушку понимала. Старуха шибко ее полюбила и назвала по-своему, ласковым имечком Весна.

Ты послушай, сколь ладно это имя выговаривается: Весна, Весёнка, Весёнушка!

Много ли, мало ли лет прошло — никто не считал. Старушка одряхлаела, сгорбилась и ослепла, а Весенушка выросла, как ягодка-вишенка!

Лучшей мастерицы, кроме нее, по нашим местам не находилось. Такие она узоры на полотенцах гладью и крестом вышивала — словом не расскажешь. Кому полотенце подарит, у того в избе теплее станет. И дарила она полотенца не всем, а только невестам. Которая девушка победнее, той и дарит, чтобы в чужой семье в счастье да радости жилось.

Так потом и пошел обычай: после свадьбы в переднем углу избы вышитые полотенца вешать.

Свою работу Весенка за труд не считала, была бы добрым людям польза.

Поди-ко многие девушки от нее не только полотенца вышивать, но и холсты тонкие ткать научились.

Стали к ней женихи наезжать, бедные и богатые.

Иной молодец приедет — кудрями тряхнет, иной кучу денег выложит, а она всем отказывала.

— Я, — говорит, — в людях выросла, мирским хлебом выкормлена, все мужики мне отцы, все бабы матери, им и буду, как могу, помогать.

Из всех женихов только один по душе ей пришелся. Он ее кудрями не завлекал, деньгами не сманивал, а, видать, сердцем взял. Парень-то был сказывают, из Москвы, где-то там на заводе робил, да начал народ против царя поднимать, ну, его стражники сграбастали и в наши места спровадили. А он и тут не унялся. Не успела Весенка на него налюбоваться, как снова молодца в цепь заковали и еще дальше, в Сибирь, в самые холодные места отправили. Ждала от него весточки, не дождалась, а после того женихов вовсе на порог не пускала.

Тут как раз она и повстречалась Сиверку. Он хоть сам-то урод уродом, и души, небось, у него никакой нет, но тоже девичью красу сумел отличить. Увидел ее, перестал по деревне свистать да выть, обернулся мужиком и побежал в крайнюю избу, где деревенская сваха Милодора жила. Бросил ей на стол кошелек с серебряными монетами и послал Весенку сватать. Милодора перепугалась, но все-таки пошла. Уж она пела-пела, жениха хвалила: такой-то он ладный, богатый да заботливый. Но Весенка и слушать ее не стала.

Разозлился Сиверко, закружил, завыл пуще прежнего. Налетел на Весенкину избу, разметал ее по бревнышку, схватил девушку, уволок в дальние леса и на поляне бросил.

Шубу на себе рвет, ногами топает и кричит:

— Ты пошто моей свахе отказала?

А Весенка оттолкнула его:

— Не подходи ко мне, знать тебя не хочу.

— Я тебе ситцу цветного подарю много.

— Не надо!

— Я тебя в серебряную одёжу наряжу, как березка, куржаком обсыпанная, будешь нарядная.

— Мне наряды ни к чему. Не они человека красят.

Тогда начал Сиверко перед ней своей силой и богатством похвляться. Заложил два пальца в рот да как свистнет! Застонали, закричали в лесу березы и тальники, начали к земле клониться. Речки и озера льдом затянуло. В полях сугробы снегу насыпало. На поляне ледяной дом вырос: над крыльцом, как фонари, сосульки свесились, из одной горницы в другую ледяные дорожки проложены, ледяные окна узорами расписаны.

— Все твое будет! — кричит Сиверко Весенушке.

А она на это богатство и смотреть-то не хочет.

Сиверко опять два пальца в рот заложил и снова свистнул. Затрещали березы, кора на них начала от мороза лопаться. Птицы в дупла берез подальше забились, а которые схорониться не смогли, замертво на сугробы упали.

— Ну, надумала за меня просвататься? — спрашивает Сиверко. — Видишь, какая у меня сила, никто против нее не устоит.

— Нет, — отвечает Весенушка. — Ты злой, все живое губишь, людей разоряешь, не бывать тебе моим суженым.

Присела Весенка на пенек, отвернулась от Сиверка, голову себе на колени положила: «Лучше уж смерть, чем неволя!»

Да и то сказать, долго ли она могла на морозе выдюжить? Платице на ней ситцевое, ноги босые. Озябла, посинела. Только и тепла, что от косы. Коса расплелась, волосы по плечам рассыпались и ее прикрыли...

В это самое время младший брат Солнышка Месяц вышел на небо погулять. Всем известно, он тепла не любит. Холодная погода ему в самый раз. Поэтому они и поделили с братом: Солнышку день, а Месяцу ночь.

Вышел он на прогулку и только поднялся над полями, лесами и горами, увидел Весенушку на поляне. Сначала не понял, что она тут делает. Спустился пониже, пригляделся: может быть-де, заблудилась она или что-нибудь потеряла. Да нет, вроде не так! Видно, дру-

гое что-то с ней приключилось. И надо бы ей помочь, да как это делается, Месяц не знает. Походил он вокруг полянки, покачал головой и пошел дальше своей дорогой.

Перед утром вернулся Месяц домой.

Солнышко только-только проснулось. Лежит на кровати, поясицу почесывает, зеваёт: неохота вставать. С тех пор, как заслонилося оно от людей хмурыми тучами, дел и забот стало меньше. От безделья и скуки совсем обленилось.

— Эй ты, лежебока, вставай! На работу пора! — закричал ему младший брат, открывая дверь.

— Успею. Торопиться мне некуда, — ответило Солнышко.

Рассказал ему Месяц о Весенушке: как сидит она в лесу на полянке, как Сиверко вокруг нее скачет, лапами хватает, чтобы заморозить. И жалко, дескать, было девушку, да ничем помочь ей не мог.

Знал Месяц, как расшевелить своего старшего брата. Солнышко ведь только обидчивое, но добрее его никого на свете нет: всех обогреет и приласкает.

Заторопилось Солнышко. Быстренько расчесало бороду, встало. Засияло вокруг на многие версты. Тучи разбежались, небо очистили. Сиверко перестал сучья ломать, землю морозить, подобрал лапы и в нору скрылся.

А Весенка уж еле жива сидит. Ни рукой, ни ногой двинуть не может. Длинные волосы на плечах инеем посеребрились.

Начало Солнышко поляну греть. Березы ласково зашептали: «Проснись, Весенка, проснись!»

Открыла девушка глаза, подняла голову: хорошо-то как в лесу стало! Улыбнулась, низко Солнышку поклонилась:

— Спасибо тебе!

А Солнышко, знай, греет и посмеивается:

— Ну-ко, красавица, утри глаза. Расскажи, как звать тебя, откуда ты здесь появилась?

Ничего Весна перед ним не утаила: как она в детстве по миру ходила, как дружка ее царские стражники в Сибирь угнали, как Сиверко ее в лес унес.

Выслушало Солнышко, нахмурилось.

— С Сиверком я еще поговорю. Ишь ты, какой варнак! Ну, а на твоих-то земляков, я, видно, не зря рассердилось. Совсем перестану им показываться, пусть живут, как хотят.

Откуда было Солнышку знать, что народ-то за богачей не ответчик. Люди землю-матушку потом поливали, а богачи с них последние рубахи снимали.

Вот Весенушка и вступилась:

— Напрасно ты, Солнышко, на народ сердисься. Придет время, он свое слово скажет. А если ты совсем спрячешься, что люди без тебя делать будут? Зерно на пашне не взойдет, колос не выколосится, лен не созреет. Нужда — людям не помога. Народ к радости рвется, а ты хочешь ему в этом деле помешать. Нет, ты богатых мужиков накажи, а народ не тронь. Сиверка с наших мест прогони да помоги людям скорее от вечной нужды избавиться.

Подумало Солнышко над этими словами, потом обняло Весенку, весело сказала:

— Ну и вострая ты девушка! Ишь ты-ы! Как же это мне старому раньше такое дело в ум не пришло? Правду ты молвила: надо людям свету да тепла дать больше, стать им в добром деле помощником, на полях работником. А уж со своими-то супостатами они сами управятся.

— Вот за это еще раз тебе спасибо! — сказала Весенушка. — А теперь дозволю тебе обратно идти.

Усмехнулось Солнышко:

— Никуда тебя не пущу. Будешь ты с этой поры моей сестрой и первой помощницей.

— Какая из меня помощница? Только и могу, что пряжу прясть, полотенца вышивать да холсты ткать. А состарюсь, и этого делать не смогу.

— Не печалься, сестрица. Всем тебя наделю. Будешь ты вечно молодая да нарядная, всем людям желанная.

Махнуло Солнышко правой рукой — потемнели снежные сугробы, потекли с бугров ручейки. Махнуло левой рукой — зашумела на берегах листва. Теплый ветер подул. Старое платье Весенушки превратилось в новое: по зеленому шелку подснежники разбросаны.

Вот и ходит с тех пор Весна вместе с братом своим по нашей земле из конца в конец, людям помогает. Где она пройдет, там и тепло. Где ногой ступит, там и цветы растут, каждый цветок нам на радость.

Много уже времени прошло, много воды в моря утекло. Ни царя, ни богачей, ни стражников не стало, всех их народ разом порешил. Бедность быльем поросла.

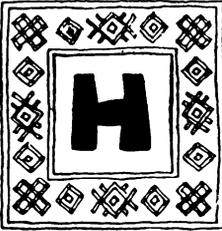
Приходу Весны старый и малый радуются. Все знают, что Весна на руку щедрая, для народа ничего не жалеет, полной пригоршней подарки сыплет.

Раньше, бывало, на болотах даже клюква плохо росла. А теперь посмотри: как Весна придет, по всему Уралу сады цветут, белым цветом поля обсыпаны, сладким медом напоены.

Здравствуй, наша Весна-красна!

Здравствуй, наша Весенушка!

Вишневая гора



аверно, верст пять наберется от нашей деревни до Вишневой горы. Никто точно не мерял. Весной и летом дойти до нее было трудно. Кругом, куда ни ступи, болота стоячие. Березовых колков тут совсем мало, но зато тальников и вербы хоть отбавляй. Захочешь, бывало, пройти, бери топор и дорогу топором прорубай.

Прежде называлась эта гора Лихоманной. И носила она такое имя не зря. Сказывают, будто находилась там пещера, а в ней жила Лихоманка, которая на людей болезнь напускала.

По утрам и вечерам с болот туманы ползут, как дым, по земле стелются. Под их покровом и приходила Лихоманка в деревню. То девкой молодой явится, то старухой-нищенкой, а то совсем никому не покажется, но свое дело исполнит. Смотришь, на другой день, когда на дворе солнышко печет и от жары деваться некуда, то в одной избе, то в другой люди от озноба страдают. Наденет человек шубу, шапку, пимы, чаю горячего напьется да еще на теплую печь полезет, а согреться не может. Треплет его Лихоманка, знобит. Так-то все лето над человеком измывается: день отпустит да день треплет, день отпустит да день треплет.

Лихоманка никого не щадила: ни малого, ни старого. Иного мужика так вымотает, что он весь пожелтеет, как осенний лист. Каждую неделю колокол церковный звонил. Это, так и знай, Лихоманка кого-то уморила. Житья не стало, хоть из деревни беги.

Чего только наши деревенские не делали, чтобы от проклятой Лихоманки избавиться! Молебны служили — не помогает. С крестным ходом ходили — не помогает. Знахарей и знахарок на ноги подняли, но и от них толку не добились.

На самом краю деревни жил Платон Рябой. Здоровенный был мужик: пятипудовыми мешками, как мячиками, играл и, бывало, на спор туго закрытую дверь лбом открывал. Стукнет лбом — дверь настезь. Но и его Лихоманка одолела.

Посоветовали знахари Платону на испуг Лихоманку взять. Как только начнет она его знобить, он сейчас же в холодную воду окунется. Сердце останавливается и дух захватывает от воды, а Лихоманке хоть бы что!

Был бы он один, так еще как-нибудь стал бы терпеть. А у него семья. Люди отсеялись, пары поднимать начали, хлеба уже в колос пошли, а Платон не сеял, не пахал.

Сидит он однажды на завалинке, в овчинный тулуп закутался, греется на солнышке. Смотрит, идет мимо его двора хромая старуха, на батожок опирается. Видно, в лес пошла.

Платон подозвал ее к себе и спрашивает:

— Не знаешь ли, баушка, как Лихоманку из тела выжить? Терпежу больше нет! Вся семья с голоду погинет, если я не поправлюсь.

Старуха этак на него покосилась, что-то про себя прошамкала и ответила:

— Знаю я, милой сынок, верное средство.

— Ой, баушка, скажи! Век тебя помнить буду.

— Да уж, видно, придется рассказать. Вот слушай. Найди в погребке старую редьку. Полезай с ней в подпол да там, в переднем углу избы, зарой ее в землю хвостом вверх. Потом дождись, когда солнышко на полдень поднимется, возьми полковника парового дегтя и выпей. Озноб как рукой снимет.

Сказала это старуха, и не стало ее.

А Платон так обрадовался, что даже не подумал, хорошо ли, плохо ли старуха присоветовала.

Кликнул он своего старшего сына Никитку:

— Ну-ко, беги за редькой. Да попутно парового дегтя налей.

Никитке тогда уже шел шестнадцатый год. Был он весь в отца, такой же здоровущий. И умом не был обижен.

Парень и засомневался:

— К чему тебе, тятя, деготь? Обутки, что ли, мазать?

— Лечиться буду. Не разговаривай, сейчас же неси! — закричал на него Платон.

Никитка, понятно, спорить не стал, принес.

А на второй день по Платону пришлось поминки справлять.

На поверку выходило, что под видом старухи к Платону сама Лихоманка являлась. Ознобом мужика не могла свалить, так звон какую шутку придумала!

Следом за Платоном и жену его, Настасью, загубила.

Остался Никита в своем дворе за хозяйку и за хозяина. С ним еще двое: Санька да Аринка. Вскоре и девчонку Лихоманка начала терзать.

Уж кого другого, а сестру Никитке было больше всех жаль. Он для нее нянькой был. Отец с матерью, бывало, на поле уедут, а он с Аринкой водится: в зыбке качает, из рожка молоком поит, сказки рассказывает. И девчоночка его ласку понимала. Вечером спать не ляжет, пока Никита ее по головке не погладит.

Как заболела девочка, парень совсем сна лишился. Целыми днями и ночами от нее не отходил. Теплыми кирпичами обкладывал,

чтобы лучше согреть. Наваром из травы-стародуба поил. Муравьиным спиртом натирал.

Потом прослышал от соседей, что какая-то бабка из другого села помогает против Лихоманки наговором. Сбегал к ней, последний пуд пшеницы отдал и упросил, чтобы поворожила над Аринкой.

Положила бабка девочку на самый край печи, догола ее раздела и начала на ней узелки вязать. На руках и на ногах каждый пальчик ниточками обернула, узелками закрепила. Вяжет узелки, а сама шепчет:

— Чур-чур-перечур! Летит ястреб по небу, бежит волк по полю. Так и ты, Лихоманка, убеги, так и ты, Лихоманка, улети. Чур-чур-перечур. Черны тучи разбегаются, ветры буйны березы гнут. Чур-чур-чур, Лихоманка, сгинь...

Под конец веник взяла да сухим веником Аринку попарила и с уголька сбрызнула.

— Ну,— говорит,— теперь твоей сестренке полегчает.

А как ночь подошла Аринке еще хуже стало. По постели мечется, жар от нее, как огнем, палит.

Тут уж Никитка не выдержал, встал посередь избы и крикнул:

— Эх, кто бы мне помог Лихоманку сыскать? Я бы жизни не пожалел, а ее уничтожил!

И только он это крикнул, за печью сверчок затрещал.

Вышел оттуда запечный сверчок-старичок:

— Я тебе помогу, если ты своему слову не изменишь.

— Нет, не изменю! Только бы народ от Лихоманки избавить и чтобы Аринка наша оздоровела.

Ну, и рассказал ему старичок, запечный сверчок, как и где Лихоманку найти.

Наутро, чуть свет, отковал Никита в кузнице железную острогу длиной полторы сажени. Ремень к ней прикрепил, чтобы рука не срывалась. Хорошенько наточил зубья, полынью их натер, как старичок, запечный сверчок, велел.

На обратном пути домой зашел. Аринку поцеловал и братишке наказал:

— Ты, Санька, за Аринушкой присматривай. Если что нужно будет, соседей позови. Ну, а коли я не вернусь, народ вас в нужде не оставит.

До горы, где Лихоманка жила, Никита полдня добирался.

По болотам с кочки на кочку перескакивал. Об осоку руки, как ножом, изрезал. В тальниках рубаху в клочья порвал. Босые ноги сухими бодыльями поранил. Комары со всех мест тучами поднялись и его облепили. Кусают, к горе ход закрывают. Лихоманка, видишь ли, для них мать родная.

На горе травы растут густые, высокие, никогда литовкой не тронутые. Комаров тут еще больше.

Набрал Никита смолья, зажег его. Комариную стаю дымом обдало. Ну, вроде стало полегше.

Начал Никита Лихоманкину пещеру искать.

Долго ходил по горе вдоль и поперек. Наконец нашел.

Посреди трех старых берез лежит каменная плита, а рядом с ней ход в пещеру. Щель совсем чутошная, под землю уходит. Туда, может, только мышь пробежит, либо змея проползет, а человеку даже руку просунуть некуда.

На плите по ночам Лихоманка в лунном свете купалась, косы заплетала и пляски плясала.

Не успел Никита вокруг осмотреться, выходит из-за одной березы нарядная баба: сарафан зеленый, под цвет осоки болотной, глаза тоже зеленые.

— Здравствуй, паренек! Как ты на гору попал и чего тебе тут надобно?

У Никиты по телу озноб пробежал. Испугался. Сразу-то не понял: откуда баба взялась? А потом, как присмотрелся поближе, увидел, что вместо рук у нее лапы лягушачьи. Это, значит, и была сама Лихоманка болотная.

— Тебя ищут.

— Неужто соскучился?

— На тебя острогу наточил. Хватит тебе людей мучить!

Лихоманка в ответ хохотать начала, словно жаба заквакала.

Поднял на нее Никита острогу, замахнулся, а на том месте, где Лихоманка стояла, темное облачко образовалось и, словно туман, в траве растаяло. Вслед за этим опять жаба заквакала, потом из травы змея выползла, уставилась на Никиту зелеными глазами.

— Ну, ш-ш-што, видел теперь, как на меня руку подымать?

— Видел. Но все равно от меня не уйдешь!

— С-с-ступай отс-с-ссюда, пока ж-ж-жив...

— Нет. Обрато мне дорога закрыта. Не затем я сюда шел! — крикнул в ответ Никита и опять нацелился в нее острогой.

Змея о землю ударилась — с глаз пропала.

Вспомнил тут Никита слова, которые ему старичок, запечный сверчок, говорил:

«Как начнет она от тебя прятаться, в тот самый момент открой у себя острым зубом остроги на левой руке кровь (эта кровь близко от сердца идет) и побрызгай ею кругом на траву. Лихоманке через нее не перейти, а потому дальше пещеры она не скроется. Там ее дом. Если каменную плиту над пещерой поднять не сможешь, то и на нее крови своей капни».

Никита так и сделал.

Лишь капли крови на траву упали, змея хвостом мелькнула и в щель, под плиту ушла.

Взялся Никита за плиту обеими руками, изо всей силы рванул, а она даже не шелохнулась. Тогда он и на нее крови брызнул. Плита сразу же в сторону ушла, а под ней пещера открылась. Оттуда сыростью и плесенью потянуло.

Спустился парень под землю. В пещере туман, потолок тенетами опутан, по стенам гнилая вода течет. Вот откуда болота воду набирали.

Заметалась змея по подземелью, кольцом свернулась, жало выпустила и только хотела на Никиту кинуться, а он ее тут острой и пригвоздил...

Что же после этого было?

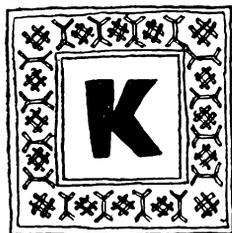
Прикончил Никита Лихоманку, но и сам ослаб, много крови-то на горе оставил. На обратном пути споткнулся о кочку, упал, утонул в болоте.

Аринка поправилась. Соседи ее и Саньку к себе взяли, вырастили и в люди вывели. Каждую весну Аринка на гору ходила, венки цветов плела и на березку вешала, в память о братце.

Пещера под теплым солнышком просохла, земля над ней обвалилась, и, кроме ямы, теперь там ничего нет. И без той пещерной воды болота высохли. На их месте теперь покосы.

А на самой горе, всюду, где Никита ходил, когда Лихоманку искал, и где кровью своей на траву брызгал, выросли вишневые кусты. Когда вишня поспевает, под листочками ягодки, словно капли крови, висят.

Лебедь-камень



камень на берегу озера лежит. Как песчаный мысок пройдешь, сначала камыши увидишь, а дальше на высоком бугре — камень.

Откуда он здесь явился? Кругом на пятьдесят верст простой гальки не найдешь, везде черная земля. А тут вдруг камень! Присмотришься к нему, а камень-то на лебедя похож. Будто лежит белый лебедь, крылья по сторонам раскинул и шею вытянул.

Наши мужики пробовали камень разбить — не разбивается. Ямы вокруг него копали, хотели узнать, глубоко ли он в землю уходит, но так и не докопались.

Девки издавна вокруг камня игры ведут, а парни тут подружек выбирают. У них песня вот такая поется:

Ой ты, белый лебедушко!
Ты, родимый наш батюшко!
Сбереги нашу дружбу чистую,
Сохрани дружбу крепкую!
Ой ты, белый лебедушко!

Весной, когда сойдет снег, волны на озере заплещутся и зазеленеет камыш, прилетают к нам лебеди. У них тоже свой порядок есть. Покружатся над белым камнем и только потом в камыши опускаются, начинают гнезда вить.

Выходит, что и для птицы этот камень не простой.

Отчего и как это получилось, я тебе расскажу.

Когда-то жил в нашей деревне Игнатко. Парень он был статный, лицом красивый, характером удалый. Только ни кола, ни двора не имел. Родители его умерли, избенка развалилась, и пришлось ему ходить по чужим людям.

Раньше говорили: не родись красив, а родись богат. У кого мощна была толстая, тому и доля. А бедному и доли не было. С красивого лица воды не напьешься, тряхнешь кудрями — семью не накормишь. Так оно и выходило. Ни одна сваха не бралась для Игнатка невесту высватать.

Ну, а Игнатко и сам понимал, что на голом месте свадьбу не справишь, под раkitовым кустом жить не будешь. По этой причине сториился людей. В праздник ли, в будни ли вечером, когда люди по хозяйству управятся, а девки и парни на игрище собираются, он в поле уходил. Ляжет на траву и слушает, где какая птица поет. В одном месте соловей трели выводит, в другом — кукушка кукует, в третьем — золотая иволга вскрикивает.

Но более всего он синичек любил и из всех птиц выделял. Соловей только песни на всякие лады распевает, кукушка — весь век бездомовница, иволга тем и хороша, что богато одета. А синичка, хотя ростом мала, и одёжа у нее простая, зато умница. Целый день эта малая птаха трудится: то гнездо поправляет, то птенцов кормит, то начнет рассказывать, какие дела на белом свете творятся, — всего не переслушаешь. Во многих она местах бывает, когда осенью улетает в теплые края. Но еще и тем она прилась Игнатку по душе, что сама себя в обиду не дает. Издавна ее гнездо люди зорить боялись. Попробуй, унеси птенцов, она тут же в клювике к твоему двору огонька принесет и весь двор спалит.

С одной такой птичкой Игнат большую дружбу завел. Синичку эту ребятишки где-то из рогатки подбили, крылышко ей поломали.

Игнатко синицу у ребят отобрал, отнес в гнездо, а крылышко вылечил. Пока лечил, каждый день для ее малых птенцов еду приносил: червячков, зернышек и букашек всяких. Потом, когда синичка оздоровела, стали они с Игнатком совсем неразлучны. Парень в поле пары пашет, а птичка у него на плече сидит и щебечет по-своему. Иным людям диво, а Игнатко птичий язык научился хорошо понимать.

Осенью, когда начали на березах листья желтеть, собралась синица в далекий путь.

— Хорошо вам, птицам,— позавидовал ей Игнатко,— сниметесь с наших мест и улетите. А мне вот плохо. Закружит над полями снег, и снова надо куда-то идти, в чужой двор в работники наниматься.

— А чего ты желаешь? — спросила синичка.— Только скажи, я для тебя все сделаю.

— Ничего мне не надо: ни золота, ни серебра, ни прочего богатства. Хорошо бы крылья приладить и птицей вольной стать...

— Доброе желание,— похвалила синичка.— Сделать это я могу, но ведь трудно одному тебе будет. Все птицы парами живут.

— Где же мне подружку взять? — вздохнул Игнатко.

Синичка обнадежила:

— Придет время, встретишь. Тогда и желание твое исполнится.

— Как оно может исполниться, ежели ты меня покидаешь, а сам я ничего не знаю?

— Я научу. Вот слушай: как найдешь подружку и захочется вам птицами стать, идите на Баскую гору. Там весны дождитесь. Весной на горе зацветет белым цветом черемуха. Вот тогда-то...

А что дальше сказала птичка-синичка, никто не знает.

Один лишь Игнатко слушал тайные слова, которые она шепнула ему на ухо.

После этого вспорхнула синичка, поднялась над лесом и улетела за Урал.

В тот же день, под вечер, ехал Игнатко с поля, вез снопы пшеницы на гумно к хозяину. Идет рядом с возом, брови нахмурил. Да и было отчего хмуриться: с кем он теперь словом перемолвится? Вон в небе косяки журавлей летят. Они тоже здешние места покидают. Курлыкают: то ли радуются тому, что от зимы уходят, то ли жалко им старых гнезд. Люди скоро молотьбу закончат и начнут брагу ставить, свадьбы справлять. В самых бедных семьях — и то потеплеет. Только ему, Игнатку, нет радости. Весну, лето и осень на хозяина горб гнул, а за это хозяин и спасибо не скажет.

Только заехал в переулочек, а тут ему навстречу девушка. Взглянул на нее Игнатко — сердце у него замерло.

Девушка остановилась, смотрит на парня, глаз отвести не может. Стоял Игнатко, стоял, все-таки вымолвил:

— Как тебя зовут?

Та назвалась Катериной. Потом и сама спросила:

— А тебя как звать-величать?

Ну, Игнатко тоже свое имя сказал.

Мало-помалу и разговорились.

Жили парень с девушкой в одной деревне, да ходили разными дорогами. Но теперь вот сошлись их дороги вместе.

Обо всем они побеседовали, многое друг другу поведали, будто давным-давно не виделись.

Перед тем как расстаться, спросил Игнатко у Катерины:

— Будешь со мной дружить?

— Буду, — сказала девушка.

— Да ведь я батрак.

— Мне все равно.

После этих слов взял он девушку за руки:

— Нашу дружбу никто не нарушит.

Однако сказать он это сказал, да немножко ошибся. Перво-наперво, Катя оказалась ему неровня. Не по себе Игнатко березу заломал, высоко сокол залетел.

Тут в деревне жил один богатый мужик, по прозвищу Горбун: на спине горб, одна нога короче, вторая длиннее. Все его боялись. И не только потому, что на вид страшный. Сказывали про него всякое: будто по ночам он вареву какое-то варил и золотые монетки отливал; то детей урочил, то скотину портил. Вот за этого злодея Катю и просватали. Он за девушку, когда срядился с ее родителями, отдал корову с телятком, сто золотых рублевиков и целую неделю будущего тестя вином поил. Дожидались только зимы, мяседа, чтобы свадьбу справить.

Рассказала девушка об этой беде и заплакала.

— Лучше бы, — говорит, — не встречать мне тебя, а то теперь еще тошнее будет идти за немилого.

Игнатко ее по русой голове погладил и ласково успокоил:

— Никому тебя не отдам. Завтра же пойду к твоему отцу, в ноги поклонюсь.

— А если он откажет?

— Тогда уж по-другому сделаем. Убежим из деревни, будем жить вольными птицами.

Катя и на это согласилась. Вот такая дружба у них началась! Скажи бы Катерине в огонь за Игнатком идти, она бы и в огонь бросилась.

На другой день пошел парень к Катиному отцу. Однако неспроста девушка отказа боялась. Родитель ее, Мосей Ипатыч, мужик был суровый, алчный, за грош семью и работников в дугу гнул. Амбары во дворе от пшеницы ломились, а он каждый фунт муки со счета выдавал.

Игнатка он и слушать не стал. Заорал на него, ногами затопал, а под конец еще собак с цепи спустил. Вот, дескать, тебе невеста, не суйся, куда не просят. Ну, Игнатко тоже не стерпел, собак перебил.

Куда же было после этого парню податься? Оставалось невесту убогом брать. Но опять неладно: девушка не иголка, в сено не кинешь, от людского глаза не скроешь. А пуще всего Горбуна приходилось бояться.

Много дней ходил Игнатко вблизи Катиного двора. Девушка словно с белого света сгинула, нигде ее не видать. А она в горнице была заперта. Родители ей шагу ступить со двора не велели.

Вот уже и заморозки по утрам начались. Потом снег выпал. Покров наступил. Дальше и до мяседа недалеко.

Была у Кати подружка Феклуша. Не девка, а прямо-таки веретено. В хороводах первая, плясать лучше ее никто не умел, чего хочешь достанет, хоть с дна морского.

К ней и пошел Игнатко, все рассказал, во всем повинился.

Выслушала она его и даже ногой топнула:

— Коли так, не бывать Катюше за Горбуном. Жди сегодня ночью в загумнах, с рук на руки передам тебе невесту.

В тот же вечер явилась она к Катиным родителям и начала просить:

— Отпустите Катю к нам. Мне одной тоскливо дома сидеть, скучно пряжу пряхть.

Мосей Ипатыч и на нее было начал кричать, да только не на ту, слышь, напал. Она ему сразу ответ нашла:

— Ты,— говорит,— дядя Мосей, как пес, на всех лаешь. Девка скоро бабой станет, может быть, век слезы проливать придется, а ты напоследок даже песен попеть не даешь.

И все-таки свое выбила. Видно, надоело Мосею слушать, согласился.

— Ну, ин ладно, пускай идет. Только ты мне ее домой приведи.

— Приведу! Жди! — засмеялась бедовуха, а сама, как только вышла с Катей на улицу, сразу же мимо дома да прямо в загумны. По дороге порадовала подружку. Катя лишь тут поняла, что из неволи вырвалась.

Из загумен Игнатко с Катей пошли в лес, на Баскую гору.

Была там полянка, а на полянке черемуха росла. Да теперь меж-

ее голых веток ветер гулял и последние листочки, какие от лета остались, на землю сбивал.

Перед черемухой Игнатко остановился, какое-то слово сказал, — видно, то, которое ему синица шепнула. Вдруг под черемухой ход открылся, а оттуда свет, словно солнечный луч, брызнул и темную ночь осветил.

Спустились беглецы вниз по ступенькам. И оказались они в подземном доме.

Обо всем синичка позаботилась, чтобы Игнатко и Катя могли весны дожждаться.

А Мосей с Горбуном в эту ночь всю деревню на ноги подняли. Кинулись беглянку искать, погоню по дорогам и тропкам пустили. Но напрасно. Следы до Баской горы довели, а дальше пропали. Мосей со злости чуть бороду у себя не выдрал: ему не дочь было жалко, а то, что корову с телятком и золотишко приходилось Горбуну обратно отдавать.

Под утро Горбун у себя дома опять какое-то зелье в чугунном котле варил. Однако на этот раз не монетки отливал, а смотрел, куда девка девалась. Видел, как Феклуша с Катей в загумны шли, видел, как Игнатко девушку на руках нес, а как дошел до горы — ничего не стало видно, все варево замутилось. Значит, не хватало у Горбуна сил против малой синицы.

Зашипел горбатый, схватил котел, грохнул его на пол, разбил на мелкие куски. Потом по-волчьи завыл, по-вороньему закаркал. Начал по дому из угла в угол метаться, все, что под руки попадет, крушить.

С тех пор каждую ночь на Баской горе волчьи стаи собирались, вороны слетались. Это Горбун их созывал, спрашивал:

— Где были? Что видели? Не нашли ли следы Катерины и Игнатка?

— У-у-у-у! У-у-у! — отвечали волки. — По всем полям, лесам, деревьям мы бегали, каждый след нюхали — нигде Катерины нет.

— Кар-р-р! Кар-р-р! — каркали вороны. — И мы за сто верст леса и деревни облетели — нигде Катерины нет.

Прошла масленица. Повисли с крыш ледяные сосульки. Растаяли снежные сугробы. Вскоре в лесах подснежники зажелтели. Мужики на пашни поехали. Вот уже на березах, на тальниках и вербах листочки появились. Славно стало в лесу: птицы щебечут, матушка-земля в солнечном тепле парится, в талой воде моется.

В мае на Баской горе расцвела черемуха. Как раз заря занималась. Только первый солнечный луч на гору упал, весь куст черемухи словно белым облаком затянуло. В тот же час под кустом ход открылся. Вышли оттуда Игнатко и Катя. Оба веселые, счастливые.



Посмотрел Игнатко на небо, белую черемуху взглядом окинул.
— Ну, Катюша, вот и наша пора пришла.

Взялись они оба за руки. Игнатко снова какие-то слова прошептал. Закачалась черемуха, полетели с нее белые лепестки, как лебяжий пух.

На том месте, где молодая пара стояла, лебедь с лебедушкой оказались.

Взмахнули лебеди крыльями и поднялись в небо.

Покружили, покружили над деревней, в камыши опустились.

Ах, Игнатко, Игнатко! Надо было ему со своей подружкой на другие озера лететь, а он не хотел родного места покинуть. Не знал он, что Баская гора перестала охранять их.

Увидел на озере лебедей Горбун. Люди смотрят на лебедушек, радуются, а он в дом побежал, растопил печь, варево сварил и начал гадать: что за лебеди, откуда тут появились? Так узнал Горбун Игнаткову тайну. С той поры хлеба не ел, щей не хлебал, ночей не спал — на лебедушек охотился. Изготовил из ясен-дерева самострел, тетиву из волчьих жил натянул, стрелу наточил. По вечерам и по утрам на берегу сидел, караулил. Но лебеди близко не подплывали, держались возле камышей.

Осенью, как и прежде, потянулись в небе стаи журавлей.

Курлы-ы, курлы-ы! До свидания, до будущей весны!

А однажды поднялись и наши лебеди.

Взлетели в чистое небо, закружились над озером, но потом, видно, с деревней захотели попрощаться. Дали круг по-над берегом и только второй начали, тут их Горбун и сцапал. Натянул тетиву, аж самострел затрещал, и как только лебеди с ним поравнялись, пустил вверх стрелу.

Вскрикнула лебедушка, упала на землю. Стрела ей в самую грудь угадала.

Накинулся на нее Горбун, начал тело зубами рвать.

Громко закричал лебедь. Будь Игнатко человеком, не дал бы подругу в обиду. А что лебедь сделает? Он птица гордая, вольная, но, кроме крыльев, нечем ему себя защитить.

И все-таки, хотя и силен был Горбун, дружба и вольность лебединая оказались сильнее.

Залетел лебедь выше облаков, крылья сложил и, словно камень, бросился вниз, на то место, где лебедушка упала. Так ударился, что берег дрогнул и по озеру, как в бурю, волны заходили. Горбуна глубоко в землю вбил, а Катю крылом прикрыл и тут же в камень превратился.

С тех пор и лежит на берегу нашего озера Лебедь-камень.

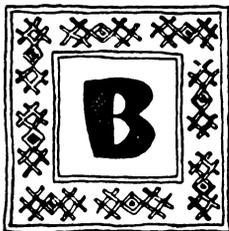
Весной, когда другие лебеди к нам прилетают и кружатся над

бугром, где камень лежит, так и знай: это они Игнатку и Кате кланяются.

А у нас в обычай вошло: кто подружку себе на Лебедь-камне выбрал, у того дружба на всю жизнь крепкая и верная.

Ой ты, белый лебедушко!
Ты, родимый наш батюшко!
Бережешь ты нашу любовь чистую,
Сохраняешь дружбу верную!
Ой ты, белый лебедушко!

Серебристая шкурка



ту зиму снегу выпало много. Крайние к поскотине избы замело до самых труб. Выедешь в поле — лошадь в сугробе вязнет, не только воз, а пустые дровнишки еле вытаскивает. В прежние зимы, бывало, в осинниках и в березовых колках весь снег следами прострочен: тут тебе и заячья тропа, и горностаева стежка, и мышки-полевушки мелкая вязь, и черного тетерева лапчатая поступь. А на этот раз под сугробами вся живность попряталась, лес опустел. Голодные волки каж-

дую ночь начали в деревню бегать.

Вон там, видишь, где речка течет, под самым скатом бугра, стоял двор Емели Куяна. Мужичонка он был бедный, хоть и знал всякое ремесло. Пимы скатает. Сапоги протачает. Корзину сплетет. Дугу согнет и любо-дорого как изукрасит! А на богатство талану не было. Избенка покосилась. Плетни стояли, как пьяные. Сам зиму и лето в рваном тулупе ходил. Пить не пил, сладко не ел, а заработанные копейки, как вода в решете, не держались.

У этого Емели Куяна был сынишка Федот. Парень как парень. Ростом и здоровьем не был обижен, а характер весь в отца. Иные парнишки, бывало, на улице в шарик либо в бабки играют, а он дома сидит, чего-нибудь мастерит.

Вся утеха у него только в том и была, что с Кудрей возиться.

Ну, надо сказать, такую собаку, как Кудря, не в каждом дворе найдешь. Всякую она речь понимала, только что книжки читать и по-человечески разговаривать не могла. Шапку, хоть в лес унеси, спрячь, она найдет и домой принесет. Под самым носом мясо положи и скажи: «Трогать не смей!» — она с голоду подохнет, а не тронет. Морду на лапы положит, отвернется, чтобы запахом в нос не сильно ударяло, и сторожит.

Вот в эту зиму, как стали волки в деревню похаживать, Федотко

собаку не уберег. Как-то ночью Кудря заскулила, зарычала, шерсть оцетинила, а парнишка возьми и выпусти ее во двор. Понадеялся на силу. Думал, Кудря волков одолеет. А их оказалось не один и не два. Не успела собака пасть открыться, как волки ее свалили, на бугор утащили и слопали. Лишь хвост от Кудри остался.

Федотко, наверно, с неделю тосковал. А потом как-то говорит отцу:

— Тятя, дай мне твою фузею *.

— А зачем тебе? — спрашивает Емельян.

— Буду волков подкарауливать. Я им Кудрю так не оставляю!

— Смотри, как бы они тебя самого не съели.

— Не съедят. Ты только картечи в заряд положи.

Понятно, убытку от одного заряда немного. «Куда ни шло», — подумал мужик. Положил в ружье горсть пороха да горсть крупной дрови, хорошенько шомполом пыжи забил и кремень наладил.

Для порядка парня предупредил, чтобы, когда стрелять будет, сильнее к плечу приклад прижимал, а то сам с ног слетит.

Федотко в огороде засаду устроил. Выкопал в снегу ямку, сверху чашой забросал, сеном притрусил, фузею поставил на треногу, нацелил ее на бугор, на коем волки Кудрю растерзали, и стал ждать.

Одну ночь в засаде просидел, потом вторую и третью. Ночи стояли темные. Иной раз покажется, вроде тень метнулась, а взглядишься — нет никого. Хотел было парень уже всю эту затею бросать. Но на четвертую ночь небо немного прояснилось, в разрывах туч месяц начал выглядывать. Как выглянет, по снежным сугробам будто иголки насыплет и огоньками их осветит.

В этом снежном мареве начало Федотку казаться: вот будто бугор зашевелился, дымок закурился, а потом обозначилось что-то, похожее на зверя. И зверь какой-то чудной: морда вострая, ушки торчком, туловище низкое и длинное, хвост пушистый. А по шкуре с головы до кончика хвоста серебряные искры то гаснут, то вспыхивают. Тряхнул Федотко головой, глаза протер. Нет! И в самом деле зверь на бугре сидит: морду поднял, туда-сюда ею водит, к разным запахам принюхивается.

— Ага-а! — обрадовался охотник. — Это ты, наверно, и слопал нашу Кудрю да опять пришел. Вот я тебе сейчас дам!

Приложился к фузее, курком щелкнул, поймал зверя на мушку и ка-а-ак бахнет! Целый сноп огня вылетел, в лесу будто сотни дрвосеков топорами застучали, в плечо прикладом отдало, словно оглоблей ударило.

* Фуз е я — старинное кремневое ружье.

Подождал он немного, огляделся и видит: зверь на бугре лежит, значит, не зря фузея с ним разговаривала.

Наутро по всей деревне, из избы в избу, слух побежал. Мужики, бабы, детишки собрались во двор к Емеле Куяну чудного зверя смотреть. Руками по бокам хлопали: что за зверь, откуда такой явился? На волка не похож, смахивает больше всего на лису. Но в наших местах лисицы все рыжие, а у этой масть темная, как туча, шкурка пушистая и мягкая, словно пух, кончики волос все, как один, белые, серебристые.

Одна только бабка Дарья не похвалила Федотка. Осмотрела шкурку, поворчала, головой покачала и спрашивает:

— Ну, Федот, куда ты теперича эту невидаль девать будешь?

— Шапку сошью, — отвечает Федотко.

— Не по твоей одеже шапка-то будет.

— Тогда, стало быть, рукавицы излажу.

— Рукавицы теплые выйдут. Однако зря лишь товар испортишь. Шкурка-то, видать, не простая. Не ровен час, попадет тебе за эту шкурку от Снеговушки.

Озадачила Федотка старуха, почесал он в затылке, но большого внимания ее разговору не уделил: мало ли, дескать, чего она выдумать может...

Тем временем отец серебристую шкурку с лисички снял, очистил да присолил и сидел теперь, на пальцах прикидывал:

— Пожалуй, за нее парнишке можно пимешки справить. А если не пимы, то шубенку. Если не шубу, то штаны и рубаху бумазеевую.

Федотко побоялся о бабкиных словах отцу рассказывать. Батько-то был на руку крутой, скорый, того и гляди, рассердится, зашумит. Потому и начал его мало-помалу отговаривать. Шкурку-де продавать не к чему. Она пить-есть не просит, в лес не убежит, пусть пока дома побудет. Мне, дескать, ни пимов, ни шубы не надобно, хорошо и в старой шубенке зиму пробегаю.

Емельян послушал его, подумал и рукой махнул:

— Ладно, не будем продавать: может, самим в хозяйстве пригодится.

Принесли шкурку в избу, повесили на стенку, на гвоздь. После ужина залез Федотко на полати, старым тулупом укрылся. Вроде и спать охота, а не спится. Слова бабки Дарьи никак из ума не идут. Снеговушка, небось, шутки шутить не станет. Что-то не слышать, чтобы она добро людям делала.

Лежит парень, с боку на бок поворачивается.

Мать ухватом погремела, посуду перемыла и начала на печи спать укладываться. Вот и отец самосаду накурился, накашлялся и улегся. Лучинка в треножке догорела, остатки ее упали в таганчик

с водой, и наступила такая темнота, хоть глаз выколи. Только на стене, где шкурка повешена, голубые искорки вспыхивают.

Вскоре первые петухи пропели. Значит, время-то близко к полуночи. Лежал-лежал Федотко и задремал. Но только задремал, вдруг слышит, будто кто-то его зовет: «Федотко! Федотушко-о!»

Поднял он голову, прислушался. В избе тихо, а с улицы, и верно, кто-то его имя называет.

Соскочил он с полатей, подошел к окну, ухом приложился к стеклу и опять услышал: «Федотушко-о!»

Будто далеко где-то кричат.

Ну, Федотко и раздумывать не стал. Небось, чужой человек не будет в этакую пору звать. Может, кто-то шел да с дороги сбился.

Вышел он во двор, со двора — в огород, из огорода — на бугор возле речки. А ночь стояла глухая, ни одной звездочки в небе не видать. Лишь месяц из-за тучи выглянул, ухмыльнулся и опять спрятался.

Идет Федотко без пути-дороги, прямо по сугробам. Все тот же голос зовет и зовет. Вот поскотину миновал, вот уже и Марьино болото. Кругом камыш, тальники да березы голые.

Вдруг откуда ни возьмись ледяной дом перед ним объявился. Крыша выше берез, вместо окон камни-самоцветы вставлены, так и горят, так и играют, как дуга-радуга! Ветерок дунет — колокольчики на башенках звенят. На нижней ступеньке крыльца два сторожа стоят, оба ростом аршин с вершком, бороды до пят.

Остановился Федотко, рот раскрыл: откуда тут, на Марьином болоте, такая хоромина появилась?

На себя посмотрел и себя не узнал: пимы на нем новые, шуба новая, дубленая, шаровары плисовые. Фу-ты, ну-ты, как жених, нарядный!

По широкому полю, по снежному покрову ветерок промчался, метелица завихрилась, поземка побежала, а вслед за тем на крыльце дома сама хозяйка Снеговушка появилась.

Федотко, бывало, как к деду Матвею пойдет ночевать, всю ночь дедовы сказки про Снеговушку слушает. Дед не раз говорил: если поземка по полю стелется, так и знай, это Снеговушка бегаёт; если метель завихрилась, Снеговушка плясать пошла.

Только никто ее никогда не видел. А она вон какая: молодая, румяная, ростом высокая, платье на ней белое, как у невесты, на руках перстни, в волосы звезды вплетены.

Поманила Снеговушка Федотка к себе:

— Это я тебя звала. Ну, добро, что пришел. С повинной головы спросу меньше. Расскажи-ко мне, как это ты лисоньку из фузеи застрелил, кто тебя этому надоумил?

Испугался парень. Коли бабка Дарья правду сказала, попадет теперь от Снеговушки! И рад бы домой убежать, да ноги не идут. Рад бы слово вымолвить, да язык будто к зубам пристыл.

— Говори, не бойся,— засмеялась Снеговушка.— Я тебе худа не сделаю.

Федотко и рассказал, как дело случилось, и про Кудрю рассказал, и про волков. Ничего не утаил.

Послушала его Снеговушка, говорит:

— Коли так, то ладно. Видно, сама Серебрушка виновата, не береглась. А жалко ее. Эта лисонька была темной ночью из снега рожденная, лунным светом умытая. Одежка на ней без цены.

— Я тебе ее шкурку отдам,— сказал Федотко, а сам про себя думает: «Получит — небось, на меня сердиться не будет».

— Завладел, так пользуйся,— молвила в ответ Снеговушка.— У меня и без нее богатства хватит, дарить не передарить, возами возить не перевозить. Хочешь, сам посмотри!

Махнула она рукой — в ледяной хоромине все двери настежь открылись. В каждой горнице стоят сундуки кованые, серебром и камнями-самоцветами доверху наполненные. Полы в горницах тоже самоцветами выложены, будто небо плитками нарезано и на пол настлано.

Федотко даже глаза рукавом прикрыл.

А Снеговушка засмеялась и давай свое богатство пригоршнями в небо кидать. Как кинет — так в темном небе огненный столб встанет, либо огненная дорога ляжет. Люди по деревьям, поди, смотрят и думают: что это за сияние такое? И не догадаются, что это Снеговушка играет.

Вот это диво так диво! Такого во сне не увидишь!

Натешилась Снеговушка и говорит:

— Ну, понял теперь?

— Все понял,— ответил Федотко.

— Так что шкурку себе оставь. И запомни: она не простая, а заветная. Кто ею владеть будет, тот на всю жизнь счастье получит. В память об этой лисичке любое желание исполню. Только желание не сразу высказывай. Сначала подумай, с сердцем своим посоветуйся, а потом говори. Один раз исполню, на второй раз не спрашивай. Я хоть и богата, но скупа.

Федотко что-то хотел у нее узнать, но тут по полю поземка побегала, метелица завихрилась, ледяной дом исчез, будто его вовсе не бывало. Ни месяца на небе, ни звездочек. Один голый лес кругом да сугробы. В деревне, во дворах, собаки залаяли, петухи запели. Шубенка на Федотке снова старая оказалась и пимешки старые, заплатка на заплате.

Вернулся Федотко в избу. Отец все еще спит, во сне что-то бормочет. За печкой тараканы шуршат. Шкурка на стене серебрится. Потрогал он ее руками, вздохнул: нажил-де с тобой заботы. Потом сел на лавку и начал думать: что же делать? Это ведь только сказать легко, чтобы с сердцем посоветоваться да пожелать чего-нибудь. Поди-ко, разберись, которое желание лучше, которое хуже. Гармонь, что ли, у Снеговушки выпросить? Такую же гармонь, как у Алехи, с двумя колокольчиками. Научиться на ней играть да песни петь. Однако петь будешь, пока молодой, а под старость, пожалуй, не захочешь. Стало быть, не годится гармонь. А может, деньгами Снеговушка наградит? Нуждишки дома-то полным-полно. Изба старая, крыша, того и гляди, провалится. На лето надо опять в поскотину ехать, дерно драть, крышу заново перекрывать. Прясло в огороде развалилось. Не иначе, как придется на себе жерди из лесу таскать. Поди-ко, потаскай: пока две жерди волоком на горбу проволочешь, рубаха не один раз взмокнет. У матери пониток весь худой, полушалок — дыра на дыре. В самый раз деньги-то пришли бы. Только вот беда: сколько их надо? Мало попросить — нуждишку не поправить. Много попросить, как бы худо не случилось. Тятка как-то говорил: «Денежка тогда хороша и радостна, когда она своими руками добыта, а к кому денежка легко придет, от того она легко и уйдет, либо на весь век по рукам и ногам свяжет». Вон Ефим Пестерь из-за денег-то всю семью замордовал: и старуху, и сноху, и сыновей. Два крестовых дома построил, в гумне скирды стоят по два года немолоченными, а в доме свежей шанежки не увидишь. Вся деревня его клянет. Где тут радости ждать от даровых денег? Лучше уж без них жить. Коли вправду Снеговушка желание исполнит, надо попросить у нее новой одежды и себе, и отцу с матерью.

Пожалуй, Федотко так бы и решил, но в это время сердце словно на ухо начало ему нашептывать: «Эх, Федот, Федот! Купят тебе пимешки — износишь, купят новые шаровары — порвешь. Обноски в огород выбросишь и забудешь. Не в одеже ведь счастье-то! В новую одежду можно и пень одеть, он крависее будет, а все-таки пеньком и останется. Да какую еще тебе радость надо? Сам ты парень здоровый, есть у тебя отец с матерью. Ленишься не будешь — одежду купишь, избу себе новую построишь».

Пока так-то думал да про себя судил-рядил, на дворе совсем рассветло. Мать печку истопила, отец за оградой снег убрал, корове сена подбросил. Ничего Федотко придумать не мог. Хотел отцу сказать, но не решился: не поверит про Снеговушку.

Достал с полки шило, дратву и сел пимешки чинить.

В это время слышит, мать отцу говорит:

— Надо бы, Емеля, к горбатой Дуне сходить, какой ни на есть

пирожок отнести. Сколько годов девушка с места не сходит, радости с детства ни капли не видела.

— Ну, что же, пошли сынишку, пусть отнесет,— ответил отец.— Мы от одного пирожка не обеднеем.

Тут Федотко и подумал: если вправду Снеговушка говорила, что серебристая шкурка заметная, то кому, как не Дуне, владеть ею?

Лет до пяти была она девчонка справная, а потом вдруг что-то приключилось: начала на поясицу жаловаться, видеть стала плохо. Года через два вырос у нее на спине горб, ноги отнялись, глаза темной водой залило. Родители к попу ее возили, знахарей приводили. Да ведь эти попы и знахари на один аршин меряны, им бы только с мужика последнюю полушку сорвать, а там хоть трава не расти. Так Дуня и осталась жизнь бедовать.

Вот уж обрадовался парень, когда Дуню вспомнил!

Взял он у матери пирожок с капустой квашеной, попутным делом и серебристую шкурку за пазуху сунул.

Ты посмотрел бы, какая Дуня была: маленькая, как стручок, сухая да тощая. А в этом маленьком тельце большая боль поселилась. Ноги ноют, по горбу словно кошки скребут. Ночью девчонка криком кричит, днем кричит, никакого покою ей нет.

Остановился перед ней Федотко, пирожок подал:

— Это тебе, Дуняша, мама послала.

А она руками машет:

— Не надо мне... ничего не надо...

— Да ты хоть откуси, попробуй пирожка.

— Не хочу. Ты бы мне лучше свежей травки принес в руках подержать, к лицу приложить. Либо цветцу с черемухи... либо дал бы в лесу иволгу послушать. Измаялась я...

Федотку и без того ее жалко было, а тут у него слезы на глаза навернулись.

— Ладно, Дуняша! — сказал он в ответ.— Будет травка, будет белый цвет с черемухи. Вот тебе мой подарок.

Вынул серебристую шкурку и на Дуню накинул.

Как только пушистый мех ей на плечи упал, будто солнышко по ее лицу пробежало. За сколько-то годов первый раз улыбнулась Дуня, схватила подарок обеими руками, к щеке прижала.

А Федотко тут и добавил:

— Хочу, Снеговушка, чтобы Дуняша на весь век здоровой и веселой стала, чтобы краше ее по всей деревне никого не было.

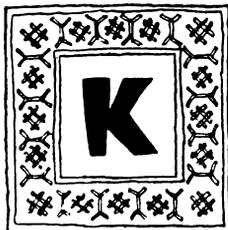
Не зря Снеговушка обещание дала. Как только Федотко желание высказал, враз оно и исполнилось.

Соскочила Дуня с постели, про хворь забыла, посмотрела на себя в зеркало: куда тебе, какая красавица!

Жить теперь Дуне до старости, ни единой слезы не пролить!

Сказывали старики, будто Федотко потом Дуняшу за себя высватал, и будто бы счастливее пары по всей нашей деревне никогда не бывало.

Тимошкин сад



Каждый человек по-своему живет: один как пу-стоцвет — ни тепла от него, ни пользы; а дру-гой — краше радости не знает, кроме заботы да работы для людей...

Когда-то был у нас в деревне мужик Ефим Буран.

Жил — беднее некуда, с хлеба на воду пере-бывался. А ребятишек у него росло, как цыплят: Тишка да Гришка, Ванька да Манька, Петька да Федька, Еремка да Семка, Нюрка да Стюрка,

Епишка да Мишка — всех, небось, не пересчитаешь.

К этакой-то ораве возьми да родись еще один.

Ну, мужик не вытерпел, взвыл:

— Ох ты, бедная моя головушка! Что теперь делать?

Жена уговаривать его стала: ты-де, отец, не тужи! Как-нибудь вырастим!

В это самое время под окнами проходила какая-то бабка: то ли нищенка, то ли прохожая. По обличью, видать, не наша: у нас бабы в платках ходили, а на этой вместо платка — шапочка, мелким бисе-ром шитая.

Услышала она, как Ефим над своей долей горюет, зашла в избу и спрашивает:

— Уж не умер ли у тебя кто-нибудь? Может, помочь надо?

— Какое там! Хуже! Новый парень родился, — сказал мужик.

— Вот те раз! Так чего ты реवेशь? Коли человек на свет появил-ся, надо песни петь, потому что затем он и родился, чтобы радость приносить.

— А чем я его кормить буду? Козы нет, коровенки вовсе не бы-вало. Вместо молока своих слез дитенку не дашь. Из последней руба-хи пеленки ему не сделаешь.

Посмотрела на него прохожая, головой покачала:

— Сама вижу, какая у тебя семья, нелегко ее прокормить. Ну, ладно, будет у тебя корова.

— Уж не ты ли мне ее подаришь?

— А хотя бы и я.

— Сама по миру шляешься!

— Ты подожди, мужик, ругаться, лучше выйди во двор посмотри, да успевай сено запасай.

Ефим, хотя и не верил, а все же шапку надел и вышел.

Завернул за угол избы и начал глаза протирать: верно, в пригоне корова стоит, зеленую траву жует. Почуяла хозяйна, замычала, вроде спрашивает: почему меня никто доить не идет?

А проходящая тем временем подошла к мальчонке и в пеленки его потеплее укутала:

— Вот теперь ты будешь моим крестником.

Сказала так-то, пчелкой обернулась и улетела.

Вернулся Ефим со двора рад-радешенек, хотел бабке в ноги поклониться, да поди-ко ее теперь разыщи, разужнай, кто она такая.

На второй день сплел мужик для сынка коробушку из бересты, мягкого моху в нее положил, сверху гусиным пухом прикрыл. Лежи, парень, в коробушке, через соску молоко посасывай да расти!

Только одна забота у мужика и осталась: как сына назвать? Жена хотела назвать Николаем в честь Николая-угодника. Но Ефим на жену зашумел: ты-де бабенка глупая. Какой тебе Николай-угодник для парня заступник, коли ничем ему помочь не мог? Что-то, сколь на свете живу, ни разу не видал, кому бы чудотворец чудо сотворил. Это вон какой-то старухе спасибо, что парня пожалела, коровенкой наградила. Давай-ко дадим ему самое простое русское имечко: Тимофей. Ежели хорошим человеком вырастет, то и с таким простым имечком проживет.

Ну, так и назвали: Тимофей!

После того лет, наверно, двенадцать прошло. Ефим сильно постарел, стал глазами слабеть и на ногу прихрамывать.

Тут ему сынок и пригодился.

Обопрется старик о его плечо и тихонько ходит по деревне. А уж где на рудничок за свежей водицей сбегать, в бане веником попарить, либо спину скипидаром натереть — парню прямо замены нет.

Да и не только своему отцу Тимошка помогал. С одним мужиком в поле поедет, пашню заборонить поможет. Другому из поскотины коров пригонит, либо лошадь в ночном пасет. Третьему приспичило отправляться в соседнюю деревню на праздник, а дома остаться некому. Позовут парнишку. Без хозяев он все, как надобно, сделает, со скотиной управится, за оградой подметет, даже в огороде ни одной грядки не политой не оставит.

В деревне мужики и бабы на него нарадоваться не могли: вот так сынка Ефим Буран вырастил, все бы такими были!

Наши деревенские тузы начали Ефима уговаривать отдать им Тимошку в работники. У парня всякое дело спорилось, значит, против других-то батраков он много выгоднее.

Но Ефим парнишку берет.

— Любого, — говорит, — сына в работники берите, а этого не дам. Пусть растет, еще успеет горя хлебнуть и для вас, богатеев, хребет поломать.

В иное время Тимошка корзины плел, туески берестяные делал. Старухи, когда летом за груздями ходили в лес, корзинками нахвалиться не могли. С виду корзинка маленькая, нести ее легко, а груздей вмещает много, домой принесешь и на стол вывалишь — целая гора.

Поделушками-безделушками парнишка занимался в зимнюю пору да в большое ненастье, когда носу из избы не высунешь. А чуть солнышко пригреет, бугорки из-под снега выглянут, травка зазеленеет, ищи его в поле. Всякая березка была для него вроде сестры, всякий тальничок вроде брата. Появятся на молодых листочках червяки — он их уничтожит, чтобы березку не портили. Ветром дерево к земле наклонит — он поправит, сухие сучки топором обрубит: расти, дескать, не хуже других.

Как-то раз бежал Тимошка домой. Целый день с дружками на берегу озера в шарик играл, проголодался. Добежал до двора, где наш деревенский купец жил, и смотрит: козьяйский работник в палисаднике тополь под корень срубает. Этот тополь на всю деревню был один-одинешенек. Ему, наверно, годов сто насчитывалось. Летом, по вечерам, купец под тополем чай распивал. Пока ведерный самовар чаю не выпьет и семь потов со лба не сотрет, до тех пор из-за стола не встанет. Тополь состарился, тени стал давать мало, вот купец на него и обзидился.

Остановился Тимошка перед палисадником, попросил у работника:

— Дядя Ипат, дай мне от тополя один сучок.

— А к чему тебе этот сучок? — спрашивает работник. — Свистульки, что ли, будешь делать?

— У себя в огороде посажу, может, вырастет.

— Коли так, бери. Такого добра не жалко.

Выбрал Тимошка сучок самый большой, еле домой его приволок. В огороде на пустом месте выкопал яму, воды налил два ведра, поставил в нее сучок и зарыл.

Поди-ко, месяца не прошло, тополь зазеленел, да так с тех пор и прижился в огороде. Парнишка вокруг тополя полевых цветов насеял, столик смастерил. Чем, дескать, мы хуже купца!

Вот тут и начинается сказ про Тимошкин сад. Хочешь верь, хочешь не верь, дело твое, но так оно и случилось, как я дальше сказывать буду...

Время человека не красит. Годы идут. Молодые растут да креп-

нут, а старые старятся, книзу клонятся. Тимошка годам к шестнадцати выправился, а Ефим сгорбился, дальше завалинки шагу ступить не мог. Многие знахарки пытались ему ноги править, в бане парить, наговором заговаривать, а толку ни на грош.

Терпел-терпел Ефим, видно, неумоги́ту ломота в ногах стала. Вот он и сказал сынку:

— Ты, Тимофей, все в игрушки играешь, тополь свой, как невесту, обряжаешь, цветочки растишь, нет чтобы отцу чем-то помочь. Каждый день на поле бегаешь, искал бы в лесу ягод. Либо корешков каких накопал да напарил и дал бы мне. Может, ногам-то станет полегче. А то еще сказывают: где-то яблоки наливчатые растут, а от тех яблок человек моложе становится.

Призадумался парень. Корешки накопать немудрено, но будет ли помога от этих корешков? Вот если бы яблоки наливчатые достать! Да где их достанешь? Раньше про сады в наших местах и знатья не было. Яблочки, как самое дорогое угощенье, из Челябы либо из Шадрина привозили, а туда их везли из теплых краев купцы. Да и то, купишь яблочко, да не всякое скушаешь: мелкими ломтиками нарежешь, в чай опустишь, запах почувешь, а настоящего вкуса и не узнаешь. А тут еще старик просит яблочко-то не простое, а наливчатое, поди-ко его найди!

Вечером пошел Тимошка спать в огород, под тополь. Летом в избе жарко, так он в огороде спал. Укроется старым отцовским зипуном и спит. От земли тепло, над головой тополь листьями шумит. Цветами пахнет. Куда еще лучше! За всю ночь сбоку на бок парень не повернется, не услышит даже, как петухи зорю встречают.

На этот раз из головы забота не выходила. Только под утро чуть-чуть задремал и то ненадолго. Рассвет забрезжил, роса на траву легла, потом солнышко выглянуло: большое, красивое и теплое. По поляне пчелы начали летать. Чем солнышко выше поднимается, тем пчел больше на поляне становится. На какой цветок ни взгляни — пчела трудится. Гудят, жужжат, видно, радуются, что мед на цветах не тронут, бери, сколько хочешь.

Тимошка глаза открыл, голову поднял из травы и вдруг видит: под тополем какая-то старушка сидит. На голове у нее шапочка, мелким бисером шитая. Сидит эта старушка и на Тимошку ласково смотрит:

— Ну, вставай, милый сын, вставай! Дай посмотреть, каков ты стал.

— А ты, баушка, чья будешь? — спросил парень. — Из какой деревни?

— Я твоя крестная, — отвечает старушка.

— Не ты ли это корову моему тятке пожаловала?

— Я и есть.

— А как тебя, крестнушка, звать-величать?

— Никому не сказывала, но тебе скажу. Слышал про Пчелиную Матку?

Обрадовался парень. Всякий поди знает, что Пчелиная Матка — людям родня. Кто в нужде живет — поможет нужду избыть, больному при случае целебной травы принесет, медом свежим напоит, накормит.

Начал Тимошка в гости ее звать. Но Пчелиная Матка даже скзывать никому не велела, что он с ней виделся.

О том, о сем побаяли. Ну, Тимошка попутным делом и насчет отца пожаловался. Рассказал, как старик ногами мается, а потом начал баушку-крестную спрашивать: не знает ли она корешков либо ягод, от которых ногам облегчение бывает.

— Собираюсь, — говорит, — в Черную дубраву идти, таких корешков и ягод поискать. Только как их найти, как от всех прочих корешков и ягод отличить?

Старушка сказала:

— В той Черной дубраве окромя сонной одури да белой дремы ничего не растет. Их Лешак по всему лесу накидал, насеял, чтобы зло людям чинить. Невзначай наберешь, хворому отцу хуже сделаешь. Добро бы Ефима наливчатыми яблоками накормить.

— Он и вправду про эти яблоки поминал. Будто сила в них большая, кто их поест, тот молодым становится.

— Молодой — не молодой, а здоровый будет.

— Я бы пошел... Да куда? Пойдешь — не найдешь, только время потеряешь. Может, таких яблук и на свете не бывало?

Ничего крестнику не ответила старуха. Долго молчала. Наконец молвила:

— Нелегко эти яблоки добыть, да уж ладно, расскажу. В Черной дубраве, куда люди ходить боятся, Лешак живет. В самом тайном месте растет у него сад. Никто этот сад, если будет искать, не найдет. Сумеешь Лешака одолеть — желание отца исполнишь, не сумеешь — в Дубраве сгинешь.

Не легкое дело — Лешака одолеть. Этот Лешак-то сам хозяин лесов. Старик он злой, пугать да голову людям морочить большой охотник. Поди-ко спроси любую бабу, девчонку, парнишку, а то и мужика, сколько раз их Лешак в лесу блуждать заставлял? Уйдут в лес по ягоды, либо по грибы, либо за дровами поедут и дорогу домой найти не могут. С одного места уйдут да опять к тому же месту вернуться. А иной раз Лешак аукать начнет, то сучья на деревьях ломать, то стук поднимет, хоть из лесу беги.

Байки про Лешака Тимошка слышал всякие, потому что показы-

вается он людям по-разному. Одни сказывали, будто Лешак похож на бородатого мужика, только одежда на нем вся из травы. Другие говорили, будто он козлом оборачивается. А на самом-то деле он и тем и другим может обернуться: мужиком так мужиком, козлом так козлом!

— Как же, крестная, Лешака одолеть? — сказал Тимошка. — Мужики боятся, а мне и подавно с ним ничего не сделать.

— Вот тебе кнутик ременный да уздечка волосяная. Увидишь, кинь ему на голову уздечку и тем же временем кнутиком по ногам ударь. Будет он скакать, а ты бей. Будет просить, чтобы ты его отпустил — не пускай, пока сад не покажет. Опасайся, чтобы он уздечку не скинул...

В тот же день отправился Тимошка в Черную дубраву. Как поскотину минуешь, тут тебе она и начинается. Березовые колки один к одному стоят, по обочинам — черемуха, боярышник, калина, шиповник да травы высокие, некошеные. В лесу темно: днем — как в сумерках.

Скоро и ночь спустилась.

Выбрал Тимошка одну березу ростом повыше, а травку под ней помягче и решил ночь переждать.

Только остановился, как по всему лесу что-то застучало, зашумело. Посыпались со всех сторон жуки-светляки. Кругом, как в погребке, темно, а тут словно кто-то фонари засветил: каждую веточку и каждый листик на березе видно.

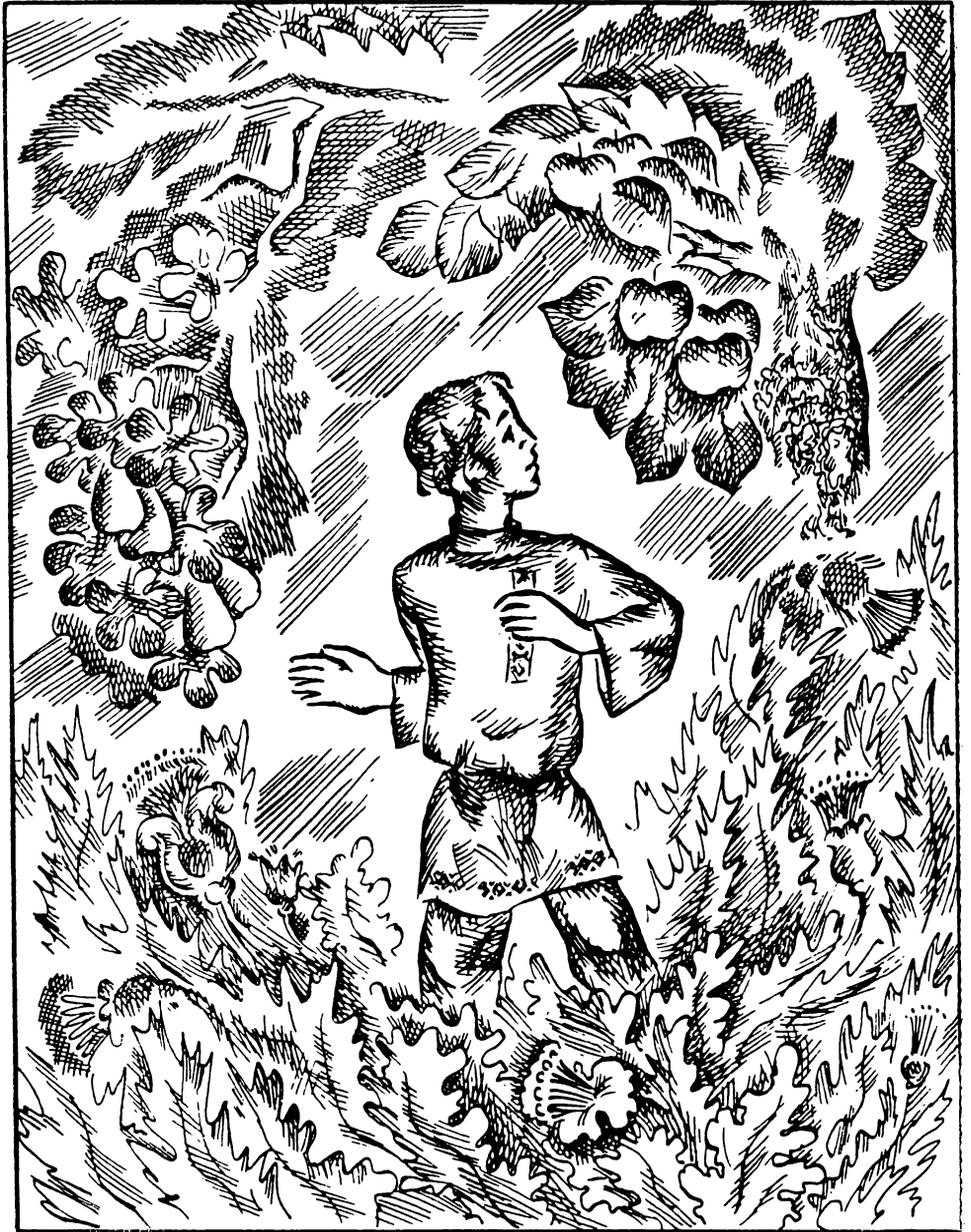
«Эге, — подумал про себя парень, — светляки-то здесь не зря собираются. Местечко тут, видать, не простое».

Спрятался, уздечку да ременный кнут приготовил. Не ровен час, Лешак прибежит.

А Лешак-то, и верно, ждать себя не заставил. Выскочил из темноты — человек не человек, козел не козел: голова козлиная, рогатая, борода человечья. Начал он мордой туда-сюда поворачивать, принюхиваться.

У Тимошки в глазах зарябило, под коленки будто кто-то кусок льда подсунул. Чуть было стрекача не дал, однако вовремя опаматовался, высунулся из-за березы, размахнулся и кинул уздечку Лешаку на голову. Лешачина не ждал, не гадал, как мордой в узду попал. Заревел диким голосом на всю дубраву. Наклонил морду к земле, хотел уздечку сбросить, да не тут-то было. Тимошка поводок узды на себя дернул, еще больше Лешаку рога опутал.

Лешак снова взревел так, что лес задрожал, кинулся, хотел ударить рогами, да промахнулся. Тут его Тимошка по ногам, по копытам-то, кнутом и огрел. Лешак начал прыгать, видно, пришлось от кнута не шибко хорошо. Прыгает, а Тимошка ему кнутиком жару



поддает. До того его укатал, что тот на траву упал и начал просить слезно:

— Отпусти! Богатым тебя сделаю.

Тимошка его снова кнутом попотчевал. Лешак запричитал:

— Ой, беда моя! За что ты, парень, меня кнутом казнишь? Чего тебе надо?

Тимошка еще разик по шкуре кнутиком прошелся и говорит:

— Покажи мне сад, где яблоки наливчатые зреют.

— Не покажу!

— Тогда еще получиай!

Лешак орет, а Тимошка его кнутом понуждает. Все-таки доконал.

— Ладно,— согласился Лешачина,— твоя взяла. Пойдем покажу.

— Сад покажешь, да и яблок мне дашь,— сказал Тимошка.— Без наливчатых яблок не уйду, тебя из своих рук не выпущу.

Лешак головой замотал, не по нраву, видно, пришлось эти слова, но деваться некуда, согласился. Побежал вперед, а Тимошка за ним. Бежит, поводок от узды не выпускает.

Всю ночь до утра так-то бежали, пока до Лешаковой избы не добрались. Стоит в самом темном лесу избенка, углы подгнили, в землю вросли, крыша старой корой покрыта. Кругом дикий хмель вьется, шиповник ростом в сажень. Через такой забор не скоро перелезешь.

За этим-то забором и растет сад. Ну, каких только тут деревьев нет! Со всего свету, наверно, разные деревья натасканы. Тут тебе и яблони, и сливы, и груши, и всякие прочие, каких я даже назвать не умею. Одни еще только цветут. На других от плодов ветки до земли гнутся. Но чуднее всех яблони, на которых наливчатые яблоки зреют. Посмотришь на них, на яблоки-то: цветом они желтые, а внутри будто медом свежим налиты, каждое зернышко видать. Все хорошо в саду, только одно плохо: нерадивому хозяину он в руки достался. Кругом трава, листья-падалики да сучки гнилые.

Чтобы Лешак не сбежал, Тимошка его в избу втолкнул, поводок от узды к косяку привязал.

Тем временем дома Тимошку потеряли. Ушел парень в лес и следа не оставил. Ефим Буран сам ходил искать,— не нашел.

Вот и лето прошло, осень на березах листья желтой краской покрасила, заморозки начали на землю ложиться. Тимошку уже и ждать перестали. А он, знай, живет себе у Лешака.

Хотел скоро обернуться, да не обернулся. Не мудрено в чужом саду яблок нарвать, домой принести и отца вылечить, но это всего лишь половина дела. Ведь небось не один его тятка в деревне от болезни страдает, раньше времени старится. Еда-то в деревне была не больно богатая: картошка вареная, паренки брюквенные и морковные, кулага из солода ржаного, алябушки пополам с мякиной. Вот

и задумал парень свой сад развести, для всего народа наливчатые яблоки вырастить. Ну и не стал торопиться. Где добром, где кнутом у Лешака все, что надо было знать, выведал. Только после этого стал домой собираться: набрал яблок наливчатых полный карман и саженцев накопал.

Когда все приготовил, снял узду с Лешачины, на прощание кнутиком его ожег, посоветовал больше в наши места носа не совать и пошел.

Пойти-то пошел, да обратную дорогу домой найти не мог. Остановился, начал оглядываться. Леса дремучие, места нехоженые. Пока оглядывался, заметил: ему на плечо пчелка села. Он ее тихонько снял, на ладонь посадил и просит:

— Ты везде летаешь. Покажи мне, как из лесу выйти.

Пчелка будто поняла, о чем парень говорит, полетела вперед. Летит, а Тимошка за ней еле поспекает, старается не отстать.

Мало ли, много ли шел, а на дорогу вышел. Показались поля знакомые, березовые колки родные.

Старик Ефим все стонал да прихрамывал, а как яблок наелся, сразу гоголем заходил, начал Тимошку нахвалять: «Ай да сын! Сумел тятку убаготворить!»

Исполнил Тимошка отцово желание и принялся свой сад закладывать.

...Э-хе-хе-э! Скоро сказка сказывается, да не скоро, слышь, дело делается. Поди-ко сам попробуй сад посадить да дожждаться, когда он тебя урожаем порадует! Небось не один год пройдет.

До конца осени парень землю под сад готовил, рук не жалел. У них огород-то в самую поскотину выходил. От прясла, где тополь рос, он и начал копать землю. Наверно, полдесятины перекопал. Осенью саженцы высадил и семена разбросал.

На будущий год саженцы зазеленели. Махонькие да хиленькие, смотреть не на что! Парень, как нянька, с ними возился, поправлял и обихаживал. А Ефим не выдержал и начал на него взъедаться.

— Мало, что ли, тебе леса вокруг? Лешаку, видно, угодить хочешь.

— Не Лешаку, а людям! — отвечает Тимошка.

— Да тебе от этого какая польза?

— Ты, тятка, видно, забыл, как ногами ступать не мог. Вот вырастет сад, тебе мои яблоки еще не раз пригодятся. И не только тебе. Пусть они и для других людей службу послужат. Тогда и мне будет хорошо. Ведь человек затем и родится, чтобы жить да радоваться и другим людям счастье приносить!

Ефим слушать не стал, плюнул со злости и ушел. Никакого-де толку из парня не получилось, хоть и была у него с малолетства ру-

ка счастливая, на всякое дело спорая. Зря его в работники не отдал. А что касается яблок наливчатых, то никогда они здесь не вырастут, потому как места у нас зимой суровые. Как картошку да морковные паренки ели, так и будем есть.

Из всех мужиков только один Прохор Тимошке помогал: то жердей ему для загородки привезет, то прясло городить поможет, чтобы коровы из поскотины в сад не лезли и саженцы не потоптали. Бывало, что и Тимошку подбадривал:

— Хорошее дело, сынок, никогда не пропадет, но и сразу себя не оказывает.

Ну и пчелка прилетала. Обернется старушкой дряхлой, сядет рядом, беседует. То одно подскажет, то другое. Небось всюду бывала, всякой всячины повидала, есть чего рассказать, есть чему поучить. От себя и сторожей в сад поставила. Иной озорник полезет через прясло в сад, а сторож пчелиный то в губу, то в лоб его ужалит. Глядишь, бежит озорник домой, просит скорее медный пятак к шишке приложить. Так и надо, не лезь, не порть добро!

То ли года три прошло, то ли четыре — не знаю. Разросся Тимошкин сад и в ширину, и в вышину. Как по ниточке, по веревочке: дерево к дереву, куст к кусту. Стоят яблоньки в саду ладные, развесистые, будто девушки подола сарафанов подобрали, плясать готовились, да вот только балалайка не бренчит, и они с места сдвигнуться не могут.

А на тех яблоньках яблоки наливчатые разные: и розовые, и шафранные, и краснобокие. Как фонарики, от ветра качаются.

Между яблонями на кустах смородина черная, малина спелая, крыжовник полосатый, черемуха терпкая, глазом не окинешь, корзинками не вытаскаешь.

Вся деревня всполошилась, старые и малые в Тимошкин сад начали ходить.

Тимошка так и говорил: «Все ваше, для вас сажено, для вас выращено».

Вот тебе и сказ про Тимошкин сад.

В мою пору только слухи по деревне передавались, будто дознались насчет сада царские холоуи, явились в деревню, Тимошку в Сибирь угнали и все яблоньки выкопали. Остались в саду лишь смородина с черемухой, а в ямках из-под яблонь березы поднялись. Видал, поди-ко стоят в нашей поскотине березы в два обхвата толщиной?! Это они и есть.

Ну, а Тимошка из Сибири сбежал и вместе со своими дружками, с которыми в Сибири встречался, для народа всякое добро делал.

После семнадцатого года, когда народ царя сбросил и начал своей жизнью сам править, приехал как-то к нам в деревню человек.

«Я,— говорит,— садовод. Места у вас, слышать, богатые, давайте будем сад разводить».

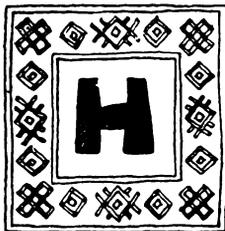
Теперича поди-ко посмотри да попробуй, каковы наши яблоки на вкус! Зайдешь в сад — душа радуется. Тут тебе и розовые яблоки есть, и шафранные, и краснобокие. Любое выбирай, каждое яблочко наливатое! Да и медком своим угостим.

Про Лешака и Пчелиную Матку, наверно, сказка, а насчет Тимошки — правда. Весь народ у нас в деревне его добрым словом поминает.

Я на дощечке березовой слова вырезал, те самые, которые Тимошка сказывал: «Человек затем и рождается, чтобы жить да радоваться и другим людям счастье приносить».

И эту дощечку на воротцах сада укрепил.

СНЕЖНЫЙ КОЛОС



аклонись-ко пониже, возьми щепотку земли на ладонь. Какая она теплая, чувствуешь? Теперь ухом к земле приложись: звенят где-то колокольцы-бубенцы, спелая пшеница колосками шелестит, издалека песня нескончаемо льется, ручки журчат, тихий голос шепчет, будто мать ребенка в зыбке баюкает. Ласковая у нас земля! Поработаешь в поле, умаешься, кажется, больше силушки нет, ни рукой, ни ногой двинуть не можешь, а приляжешь на поляну, отдохнешь, и снова

впору хоть горы ворочать. Всю усталость земля на себя берет. Да и богатая же она. Ну-ко, выйди эвон туда, за околицу деревни, вокруг оглянись и вдаль посмотри. Великие хлеба растут на полях, дивные цветы цветут на елянях, березовые рощи шумят, сосновые боры полны птичьего пенья, сладких запахов чебреца, медуницы, донника, дикого хмеля. Там, за рощами, в одной стороне Теча-река, в другой Синара, а меж ними озеро Маян и еще множество всяких мелких озерков и проточин.

Изредка залетает в наши края птица Орлан. Проплывет высоко в небе, голос подает: «Кии-кии-кии!» Покружится над лесами, а потом взмоет еще выше, до облаков, и скроется в стороне каменных гор. Там она, должно быть, гнездует, в озерах промышляет, а сюда появляется лишь на побывку.

Было когда-то время, жил на реке мельник. Выросли у него два сына. Одного звали Степанком, второго Филянком. И ни в чем-то они не были схожи друг с другом, словно от разных матерей и от-

цов. Степан — парень удалой, чернобровый, востроглазый, до всякого дела охочий, а Филян день-деньской, бывало, под навесом сидит, на белый свет хмурится, ни отцу, ни брату ни в чем не поможет, даже молотком гвоздя не забьет. Ведьма-зависть по его следам так и ходила неотступно. Взвалит Степанко к себе на плечо мешок с зерном — Филян его силе завидует. Пойдет Степанко ставни на плотине открывать, чтобы воду к мельничным колесам пустить, — Филян от злости места себе не находит. Начнет Степанко топором бревна тесать для новой избы, столярничать, либо в кузне железо ковать, так Филян будто кость поперек горла поставит. Добро бы, коли только одной завистью обходился. А то ведь озорничал. Да все по ночам. Днем-то пялит завидующие глаза, а чуть стемнеет, отправляется чужой труд рушить. То на мельнице в жернова песочку подсыплет, то изгородь, которую Степанко городил, поломает, то весь его столярный инструмент в пруд побросает. Бывало, и в огород к соседям залезет, огурцы потопчет, ботву порвет, навоз раскидает.

Степан все терпел, пытался с ним миром поладить. И отца уговаривал: ты-де Филяна не трогай, одурит, так и сам перестанет баловать. Может, дескать, наше житье ему не по нутру. Старше станет, без нас определит, в какую сторону идти. Ну, мельник-то иной раз пальцем погрозит, пошумит малость, погорюет, отчего ему этакая долюшка выпала, а все-таки небось жалко было: хоть урод, но сын!

Потом стали они замечать, вроде Филян побурел, порыжел, уши у него кверху вытянулись, нос заострился, глаза округлились. С тех пор зависть им совсем овладела, человечьею облика лишила и из дому увела.

Помольцы, кои ночью зерно мололи, будто бы видели, как после захода солнышка с вершины Белой горы какая-то большая птица слетела, бесшумно крыльями помахала над мельницей, ухнула, отчего у них под рубахами мураши поползли. Но мельник это во внимание не взял: мало ли каких птиц не бывает. Позвал Степанка, снарядил его в путь-дорогу: «Иди, — говорит, — хоть весь лес обойди, а Филяна верни под отцовскую крышу».

В лесах человека найти все равно, что деревья пересчитать.

Вернулся Степанко ни с чем.

Только где-то в межгорьях в пору зимних ветров набрел он на снежный колос. Сиверко с горы на гору метался, леденил землю, а колос-то посреди сугроба стоял, как ни в чем не бывало. Сорвал его Степанко, примерил на ладонь — без малого четверть! Остья белые, с изморозью, зерна увесистые. Для наших полей этакому зерну

замены нет. На любом солонце взойдет, в любую погоду созреет, с уборкой торопиться не будет.

Сколько, поди-ко, мужицких дум о таком зерне передумано, сколько снов пересмотрено. То-то землеробы обрадуются и земля възграет, одарит урожаем.

— Ну, ладно,— сказал мельник, принимая от Степанка находку,— коли в своей семье нет удачи, так хоть людям удружим.

В вёшну, после спада талой воды, вспахал Степанко неподалеку от мельницы пустошь, крест-накрест заборонил пахоту и зерна, собранные со снежного колоса, рядками рассеял.

А в тот год весна была дружная. Только отсеялись мужики, как начали громы греметь, молнии сверкать, обильные дождики словно из решета сыпаться. Дождик пройдет, тучка промчится, солнышко разгуляется. Сразу отучнела земля. Зелень-то, как на опаре, поднялась. У Степанка на пустоши совсем было диво. К концу сенокоса снежная пшеница вытянулась ростом с озерный камыш. Где одно зерно положено, на том месте десять стебельков зеленые косички раскинули, а из-под каждой косички по два колоса свесилось.

Помольцы с мельницы о снежном колосе по всей округе весть разнесли. Кто бы куда мимо мельницы ни ехал, кто бы куда ближней дорогой ни шел, Степанковой пустоши не миновал. Никому парень не отказывал, всем сулил:

— К Покрову* в гости к нам милости просим. Каждого гостя спелым колосом одарим. Пусть мужицкие думки исполнятся.

Один раз осенним утром вышел он в поле и глазам своим не поверил. Там, где еще вечер снежные колосья душу мужицкую радовали, было голое место. Ни травинки, ни былинки не осталось. Стебли-то из земли с корнем вырваны, значит, ни себе, ни людям кто-то добра не желал.

Тут и пало ему на ум: дескать, не братец ли опять появился?

Всякую обиду он ему прощал, а эту простить не смог.

Вот и стал после того каждую ночь поле сторожить. Все равно-де не утерпит Филян, еще раз сюда придет.

Сколько-то ночей прошло тихо-мирно. Вода в ставнях знай себе шумит, река посреди таловых кустов течет плавно, падают в нее звезды. А в поле ни огонька, ни шороха!

Все же дождался. Как раз месяц на небо вышел, засинело, на земле тени сгустились, и что там сверху-то творится, стало виднее. С вершины Белой горы метнулась большая птица, поплыла над ольшаниками, талами и перелесками, как по зыбким волнам. Не торопилась, видать, махала крыльями нехотя, несла себя тяжело.

* Покров — осенний праздник.

Вот она все ниже стала спускаться, скрылась в кустарниках и вдруг будто из-под земли вынырнула и бесшумно, так что ни одна веточка не дрогнула, опустилась на березу, где Степанко стоял.

Страшные глаза уставились на него, и сначала вроде заплакала птица, а потом громко на весь лес закричала: «У-ху! У-ху-ху!» То ли добычу почуяла, то ли силой похвасталась.

Попятился Степанко: не ждал он, не гадал в этаким виде брата повстречать.

Но тут же вспомнил, за каким делом пришел, для чего столько не спал, сторожил. Вернулся на прежнее место, поднял голову и промолвил:

— Слышь-ко, Филян! Лучше давай по добру разойдемся. Верни мне колосья, не делай худа народу. А я тебя за то пальцем не трону.

— У-ху-ху! — опять закричала птица и бросилась на него.

Завязалась меж ними драка. Филян когтями рвет, клювом клюет, а Степанко лишь кулаками отбивается. Начнет одолевать, а Филян крыльями взмахнет, изловчится и пуще прежнего на него налетает. Плохо пешему с конным биться, а с крылатым и того хуже. Все реже и реже принимал бой Степанко, уже плохо слушались руки и ноги, плечи опустились, когда последний раз ударил его Филян в грудь, вонзил когти и понес.

Долго он летел. Начала заря заниматься, засверкало утреннее солнышко. Скрылись в долине озера и реки. Вот и каменные горы внизу пораскинулись.

Захотел Филян, разжал когти и Степанка бросил.

Да случилось не по его воле. Упал Степанко не на голый уступ, а на поляну, что раскинулась под уступом. Только земли коснулся, как по всей поляне трава поднялась, зашумела и скрыла его.

Мало-помалу отлежался Степанко, угрелся на теплой земле, снова силы набрал. «Ладно, — думает, — первый раз битым оказался, зато второй раз умнее буду. Загодя дубинку приготовлю, да людей позову и птиц всяких, малых и больших, на подмогу покличу. Все равно снежные колосья верну, разыщу то место, куда их Филян припрятал, а его самого куда-нибудь выдворю».

На уступе, в расщелине, было Орланово гнездо. Полез туда Степанко, чтобы лучше дали оглядеть, с гор дорогу в долину найти, и прямо к этому гнезду угодил.

Орлан поднялся навстречу, крылья саженные раскрыл, надбровные дуги надвинул и заклекотал по-своему. Только он-де один живет тут в поднебесье. Никакой зверь сюда не забежит, даже сокол-сапсан отдохнуть не остановится. Человеку нет отсюда ни ходу, ни выходу. Ступай-де обратно, эвон туда на поляну, ложись снова в траву и жди, покуда к тебе погибель придет.

— А ты бы так сделал? — спросил Степанко.

— Нет! — ответил Орлан.

— Коли так, помоги мне, отнеси ближе к дому. Моя порода не хуже твоей, небось, тебе стыдно не будет. Остался я перед народом в большом долгу. Посулился, но дело до конца не довел. Люди-то станут надеяться: вот Степанко по всей округе зерна снежного колоса раздаст, подымутся на полях невиданные хлеба, те, что ни ветров-суховеев, ни Сиверка, ни дождей проливных, ни буранов зимних ничуть не боятся, те, что в каждую избу радость принесут. И никто не узнает, как Филян все их надежды порушил.

Пока Степанко говорил, Орлан молчал, а выслушал, головой покачал.

— Вижу, — говорит, — что порода у нас одна да помочь ничем не могу. Старый я стал, шибко долго на свете живу, ослаб.

Задумался Степанко. Верно, Орлан-то совсем старик! Выходит, надо что-то иное делать. Снял с себя одежду, стал ее на ленты рвать и веревку крутить. Так, мол, с уступа на уступ, до подошвы горы спущусь, а там, в долине-то, сдюжу.

Понял, видно, Орлан эту задумку и молвил:

— Камни кругом вострые, разобьешься!

— Да уж лучше разбиться, чем смирно погибели ждать, — ответил Степанко.

— И с Филяном не справишься, колосья не найдешь, пока то же птицей не станешь, выше всех в небо не взлетишь. Только уж птицей-то не вернешься ты к людям, будешь век вековать один.

Степанко снова задумался. Что же все-таки лучше и что дороже? Не лучше ли на камнях гибель найти, чем жить одному, изо дня в день тосковать о людях, о мельнице, об отце, о ласковой земле? Либо другое?

И выбрал он то, что сказал Орлан!

Тогда ударился старый Орлан о скалу, сорвал с себя крылья, накинул их на плечи Степанку, а сам бросился вниз, в седые туманы.

Много времени с тех пор утекло. Уже давным-давно Филяна не стало. Не смел он больше варначить, прятался в кустах, перелесках и балках.

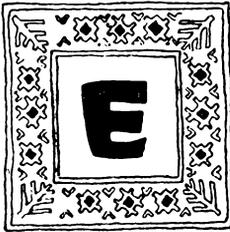
Дивные хлеба растут на наших полях. Только снежный колос пока не найден.

Но не отступается Степанко, ищет его, да и тоскует, наверно.

Все еще изредка прилетает в наши края птица Орлан. Проплывет в небе высоко-высоко, над Белой горой покружится, крикнет по-своему: «Кии-кии-кии!» Вроде всем, кто слышит ее на земле, хочет сказать:

— Живите счастливо, люди!

Полуночное диво



жели ты в позднюю пору на елани возле горного утеса не бывал, то и Полуночного дива не видел...

Жил тут у нас когда-то гончар Фома Рябой. А у него сын был Санко. Избешка у них от ветхости лишь на подпорках держалась. Сам-то Фома робить уже не мог. Весь свой век месил он сырую глину, на гончарном кругу горшки и крынки готовил да обжигал их в яме, в огороде, ну, а вместо богатства только хворобы нажил. То

у него почнет спину ломить, то пальцы крючить. И осталось ему под старость на печи лежать, мозглые кости свои под тулупом греть.

Санко отца заменил, его ремеслом овладел, но один раз выговорил:

— Скукота это, батя! Неужто, кроме горшков и крынок, мои руки ни на что не способны?

— Ведь кормиться нам с тобой надо,— сказал Фома.— Небось, кажин день хлебушка пожевать охота, щей похлебать, чаю попить.

— А может, руки мои дела иного просят!

— Ну, коли просят, то пробуй. А я неволить не стану...

Появилось у Санка мечтание. Из-за него сны всякие виделись. Места он себе в избешке не находил, покою лишился. Сидит, бывало, за гончарным кругом, вертит из мятой глины посудину и вдруг остановится, глаза в окошко уставит. А там, за окошком-то, пролегли меж пшеничными полями дороги проезжие, перед тихой речкой хороводы белых берез расступились, в вышине небо сияет, и такая-то в нем глубокая синева, аж голову кружит!

Поначалу Фома думал, дескать, Санко из-за Стешки страдает. Парень молодой, в плечах просторный, а лицом-то весь в мать, добром будь помянутую! Те же волосы кучерявые, тот же из-под темных бровей взор пронзительный, лоб крутой и складка возле подбородка упрямая. Все девки в деревне заглядывались, но только Стешка его покорила. И чего он в ней нашел — трудно понять. Так себе девушка, встретишь на улице — не обернешься. Ростом мала, тонковата, не бойкая, на песни не голосистая. «Э-хе-хе! — кряхтел Фома, лежа на печи.— Хорошо еще не горбатенькая! И управляться-то в хозяйстве поди-ко не сможет. К чему мне такую сноху?..»

Отбить от нее Санка не удалось. Так и поставил тот на своем. Да еще попрекнул, ты-де, отец, по себе не суди. Ведь вот-де, прожил с матерью тридцать годов, а на уме-то у нее ни разу не побывал. Она-

де до самой старости с тобой горе мыкала, но тебе и невдомек было. Ты наробишься за гончарным кругом допоздна, поужинаешь чем попадя и скорее спать завалишься, ласкового слова не вымолвишь матери. Как чужой!

Догадывался Фома, что в мечтаниях сына без Стешки все же не обошлось. Это она растревляла его. Как-то вечером возле палисадника нечаянно подслушал их разговор.

— Какая, Санко, я буду счастливая, ежели тебе твоя думка удастся...

Засылал Санко к ней во двор сватов, а те вернулись ни с чем. Стешкин отец, Никанор Чижов, на сговор не согласился. Мы-де кормили-поили девку, а коли вы взять хотите, то коня предоставьте да пять овец, воз зерна веяного, ведро браги хмельной и деньгами сто рублей. Непосильная плата! Да и неоткуда ее взять-то было.

Пока Фома этак сам с собой судил-рядил, Санко совсем затосковал. Только на один обжиг наформовал горшков, а больше к гончарному кругу близко не подходил. Слонялся из угла в угол по избе и все чего-то думал и думал.

Фома уж не вытерпел, шумнул на него:

— Ты чего это, парень? Посуду-то, небось, давно пора в яму сажать да обжигать. Ведь испортится! Поди-ко у тебя все Стешка из ума не выходит?

— Есть еще кое-чего! — отмахнулся Санко. — Стешка-то слово дала, а ее слово надежно. Не отдаст ее Никанор задарма, так убегом уведу, в другой деревне поженимся. А вот охота мне, батя, такую посудину сформовать и обжечь, какой еще ни один мастер не делал...

— За день, за два не сделаешь.

— Да хоть год потрачу!..

Вот, значит, куда гнул Санко-то и к чему его Стешка толкала. Все хорошо: и любовь, и достаток в доме, но мечтание всего превыше! Без него душа-то остается пустой, в великой печали, как вспаханное, но не засеянное зерном поле. Так прожил свою жизнь он, Фома Рябой, а толку в том ни себе, ни людям. Вчуже жил-то, холодно, оглянуться не на что, сердцем приложиться не к чему!

Спросил однако:

— Что за невидаль сделать задумал?

— Как придется, — сказал Санко. — Может, корчагу узорную, а коли уменя и терпения хватит, то кувшин какой-нибудь дивный.

— Ладно, лети сокол выше, сколь силы хватит, — одобрил Фома и даже по-стариковски всплакнул малость.

Вскоре Санко ушел в сторону каменных гор подходящую глину искать. Та, что он у себя в огороде добывал, желтая глина, для тонких работ не годилась. Ну, и поприглядеться хотелось к цветкам по-

левым, как на них разные краски играют и нельзя ли те краски-то собрать да к гончарному ремеслу приспособить, перед обжигом сформованные посудыны облить.

Проводила его Степка за реку, попрощались они до поры до времени, перекинул Санко мешок через плечо и пошагал вдоль высокого берега.

По низовью-то река у нас не шибко широкая, а ближе к горам совсем, как ручей. Попадала на угорьях всякая глина. Пробовал ее Санко мять и на костре жечь, но бросал. И зоревых красок со цветков набрать не мог. Сгорали они в огне. Однако не попускался и в обратный путь не поворачивал.

Пришлось ему как-то ночевать на становище. Видать, давненько оно было заброшено и оставлено хозяевами. Балаган уже развалился, с навеса солому всю разметало. По признакам-то тут рудознатцы старались, золотишко не то камни-самоцветы промышляли. И на берегу реки, и посреди дикого леса земля-то будто кротами была изрыта.

Поужинал он, лег в траву. А время уже к полуночи близилось. По всей округе тишина глухая. Сосны во сне замерли. Река остановилась на бегу и тоже уснула. Чуть-чуть показался из-за гор месяц, нехотя постоял в вышине и скрылся. Небо после него темнотой налилось, выгнулось дугой в глубину, высыпали по нему звезды.

Между тем к утесу, у подножия коего становище ютилось, вроде бы тучка примчалась. Такая, что ночи чернее. Сразу от нее прохлада хлынула. Зашумел лес в вершинах. Зацепилась тучка о каменный гребень, закурило ее, взметнуло, и начала она вырастать вверх, под самое небо. Потом пала на нее изморозь, во всю ширь и высь замерцали узоры морозные, подол иголками ледяными осыпало, куржачком пуховым припорошило. И вдруг под изморозью будто сквозь туман молнии взыграли, разноцветные огни пыхнули. И вот уже нет на той тучке ни черноты, ни куржака, засияла она тихим светом, как елка новогодняя, да так и остановилась, кружиться-то перестала.

Поднялся Санко, чтобы получше все рассмотреть и запомнить, но тучку располоснуло вмиг. Он даже отшатнулся и рукой заслонился. Там, на гребне, молодлица оказалась. И вовсе не тучка ее укрывала, а накидка такая диковинная. Во мгле лица молодлицы было не знатко, затенено оно было косами и каким-то венцом, что ли, вокруг головы. Зато на белой шее и на кофте нарядной бусы сверкали, а ниже, под грудью, пояс широкий, невесть кем тканый, как жаркий костер, искрами брызгал на шелковый сарафан. Молодлица-то протянула руки, начала в ладони подхватывать звезды, что в эту пору с неба скатились. Подхватила и на пояс себе приткнула. Вот когда

она этим делом-то занималась, тут и пало Санку на ум, чего в конце-то концов ему надо.

— Красота какая же бесподобная,— молвил он сам себе.— Сроду бы никому не поверил. Теперича, ежели примусь дивный кувшин формовать, то сделаю на нем все, что тут повидал. Или еще лучше придумаю...

В лесу где-то укнула птица ночная. Снова взглянул Санко на гребень утеса, но там уже ничего не было, только темень голимая. Он еще стоял и смотрел в ту сторону, когда из-за ближней сосны к нему старичок вышел:

— Здорово, молодец! Разреши здесь на еланке ночь перебыть.

По виду-то мирный старичок: на плечах армяк худой, в заплатках разных, веревкой подпоясанный, на ногах онучи холщовые да лапти лыковые.

— Места хватит небось,— сказал Санко.

Уселся старик на пенек, из кисета трубку достал.

— Это ведь Полночица тут побывала. Зря ты не поберегся от нее, Санко, ой зря!

— Откуда меня-то знаешь? — спросил Санко.

— Мне все про все знать положено. Такой уж старик я бывалый. А Полночица-то не любит, коли за ней кто подглядывает.

— Но ты кто?

— Старатель тутошний,— усмехнулся старик.— Про золотые клады ведаю...

— Мне твое золото нипочем,— сказал Санко.— Силу большого мастерства в себе чую и не могу, чтобы она попусту пропадала.

— И про это знаю. Иначе не стал бы тебя охранять, пока Полночица здесь забавлялась. Одним взглядом усыпила бы она тебя. Только я тут поблизости погодился...

«Врет поди-ко старик! — решил про себя Санко.— Хвастать горазд не в меру!»

— Ты сам-то прежде не хвастайся,— погрозил пальцем старик.— Вижу ведь, о чем думаешь.

За разговором просидели они до рассвета. Собрался Санко дальше идти, но перед уходом пшеничную кашу сварил, сам поел и старика накормил вдоволь.

Вытер старик свою деревянную ложку об полу армяка, Санку ее подал:

— Это тебе за угощение.

— Благодарствую,— сказал Санко.— Да ведь у меня есть, ни к чему мне две-то.

— Бери, она тебе помощницей будет,— засмеялся старик.— А вот теперича отправляйся-ко в обратный путь. Дойдешь до Мокрого

лога и увидишь там в лесу сверток. Этим свертком подынешься на угорок, там меж двух берез камень-валун найдешь. Обойди его со всех сторон, осмотри, но где мох на нем и прозелень, пальцем не тронь. Сторона та холодная. А дождись, когда солнышко на полдни встанет, да в том месте, куда жаркий свет на камень уляжется, осторожно козонком постучи. И помни, однако: из-под камня голыми руками брать ничего нельзя, только вот ложкой этой, да и то не спеша.

Опять погрозил пальцем, не забывай, мол, в точности все соблюди. Санко в ответ рта раскрыть не успел, как убежал старик. Вот его армяк на прогалке мелькнул, эвон на гребне утеса, там же, где Полуночница была, и уже на другом берегу реки.

Сложил Санко всю снасть и припасы в мешок, знакомой тропой в обратный путь повернул. До Мокрого лога добрался, нашел сверток в лес, поднялся на угорок и тут, верно ведь, между двух берез камень-валун нашел. Лежит этот камень сыздавна один-одинешенек, ветрами обточенный.

И полуденный свет на нем жаром пышет.

Постучал Санко по указанному месту. Валун-то отодвинулся в сторону, а под ним белая, словно тесто из муки крупчатки, глина открылась. И не просто так лежит она, что бери лопату и копать начинай, но вроде бы наплывает из-под земли и растекается снаружи тоненько, как блин по сковородке.

Обрадовался Санко:

— Ай да старик! Такой-то глины я век не сыскал бы!

Ну, набрал он дареной-то ложкой полное ведро, обождал, пока глина чуток остыла, и в мешок опрокинул. Тем временем, солнышко уж к вечеру стало клониться. Зной кончился. Свет поубавился, пожелтел вроде бы. И глина тоже сменила цвет. Ее будто золотой пылью пронзило. Еще ведро Санко набрал. А при вечерней зоре заиграла она всеми цветами, что расплеснулись вполнеба после заката. Без устали черпал Санко: то бирюзовую, то густо малиновую, то зеленую, схожую с промытой дождями травой. В сумерках уже, когда вечерняя заря погасла и надвинулась темнота, собрал он последнее ведро глины исчерна синей, с легкой изморозью и куржачком.

А посреди ночи снова из-за сосны старик-старатель появился, сел на камень, трубку закурил.

— Доволен ли тем, что здесь добыл?

— Лучше уж некуда, — ответил Санко. — Теперича скорее бы до гончарного круга добраться да поробить всласть.

— Приду, погляжу посудину, когда ее сделаешь, — пообещал старик.

На этот раз от ужина он отказался, торопился, что ли, куда-то.

А на второй день, вернулся Санко домой. Тяжело было тащить мешок с глиной на плечах, аж спину гнуло, но зато на душе было легко и просторно, всю дорогу только и блазило дело задуманное. Каким же сформовать, чем изукрасить кувшин дивный? Да как обжечь? То виделся он ему темным, наподобие ночи звездной, то насквозь чистым и светлым, вроде струи родниковой, то зоревым, когда все цвета породнились между собой и слились в теплую радугу.

И дома он еще долго маялся: с чего начать, чем кончить, какую форму кувшину придать, как его изнутри высветить?

Вот неделя прошла, вот уж и месяц миновал. Не получается ничего! Сядет Санко этак на лавку, голову рукой подопрет и целый день с места не сходит.

Между тем припасы, кои в амбаре хранились, быстро на убыль ушли. Купить, оказалось, не на что, а взаймы у соседей хлеб и крупы просить совестно, у них у самих-то нехватки кругом.

Последний раз сходил Санко в амбар, набрал в сусеках муки на одну квашенку да крупы на одну кашу. Тем и заговелись.

— Ну, а дальше-то чем станем кормиться? — спросил Фома.

— Не знаю, батя, — расстроился Санко. — Я-то, может, и выдюжу, перебыюсь на алябушках из лебеды да на картошке, а тебя мне жалко, но отступаться от дела неохота...

Слез Фома с печи, надел суму.

— По миру пойду, а ты все же попробуй, коли уж иначе нельзя.

С тех пор жить-то стало им шибко трудно. Впрочем, Стешка часто наведывалась. Прибежит в сумерках, чтобы отец не заметил, с Санком-то словами любезными перекинется, вдобавок калачик свежий, не то пирожок с морковью оставит.

А как-то ночью, уже после второго петушиного пенья, вскочил Санко с постели, засветил каганец, глину достал и принялся на гончарном кругу робить. Фома тоже проснулся, свесил голову с печи:

— Ты чего это, парень? Али тебе дня не хватает?

— Молчи, батя, молчи — зашептал Санко. — Не то думку спугнешь... — И даже двери в избу закрыл на засов.

Попутру перетащил он круг и глину в банёшку, что стояла у них в огороде, заперся там. С той поры каганец в бане круглыми сутками мизюкал. Когда Санко спал, когда ел — было неведомо. Просунет ему Фома через оконце хлеба да воды, спросит, жив ли, здоров ли, — и больше ничего. Стешка, бывало, в дверь бани постучит: пусти, мол, хоть на минутку повидаться, но и ее не впускал Санко. Сквозь двери всякий раз один ответ:

— Обожди еще малость!

Так вся долгая зима прошла. Метелями снежными баню до крыши замело. Лишь весной, когда уже талица началась, вышел Санко на волю, худющий, аж лица не знатко. Но шибко довольный, веселый. Обнял сначала Фому, потом Стешку в обе щеки расцеловал:

— Ну, дорогуши, ступайте теперича, смотрите...

Время было уже позднее, Фома и поленился: ладно-де, завтра посмотреть не опоздаю. А Стешка побежала. Не терпелось ей узнать, за ради чего ее милый друг столько маяты перенес.

Открыла она дверь бани, перешагнула через порог и зажмурилась:

— Ой, диво, диво!

На полу и на полках еще остатки глины валялись, в каменке, где Санко посудину обжигал, угли курились, а на гончарном кругу в банной темноте стояло это диво-дивное, какое и во сне не увидится.

Теплый свет пробивался изнутри кувшина, из далекой глубины черного покрова, словно набрал Санко звезд и ночным небом их обернул. И блуждали по тому небу туманы мгlistые, сыпалась пыль золотистая, изморозь тонким кружевьём повсюду ложилась. А звезды рвались оттуда, тесно и жарко им было, они рвались и сталкивались одна с другой, тогда вспыхивали то красные, то желтые, то лазоревые искры и тотчас же в узком горлышке кувшина начинали пылать восходы утренние. Потом вроде бы сразу же день наступал, и вот уже нет ни черно-синего покрова, ни звезд, а только тонкая, как батист, синева и марево, и разнотравье, все в ярком цветении.

Когда Стешка ушла, Санко взялся было в бане все прибирать и в порядок приводить. Вдруг дверь сама собой открылась, а на лавке в углу тот старик, старатель-то оказался. В прежнем армяке, в лапотках лыковых и трубка в зубах, над сивой бородой.

— Здорово живешь, Санко! Вот, как обещал, поглядеть явился.

— Гляди, знай!

— Все хорошо, однако, берегись теперича, не показывай кувшин никому, не то большой беды себе наживешь...

А как же это так — не показывать! Уж на следующий день разлетелся слух по всей ближней и дальней округе. Не только свои деревенские, но из других сел мужики приходили. Поглядят, посоветуют между собой, экая-де радость на душе появилась! Вот ведь чего мастер своими руками сотворить может! Стешкин отец, Никанор-то, даже ладонями кувшин дивный погладил. Осторожный он был мужик, расчетливый, слова на ветер не кидал. Зато, как взволновался, Санку-то низкий поклон положил:

— Бери дочь, ничего мне с тебя не надо!

Отгуляли они в ту же неделю свадьбу. А между тем уж собиравась над Санком беда неминуемая, о коей старик-старатель предупредил.

Ведь в те давние годы народ жил подневольно.

Прослышал о диве губернатор. Барин он важный, богатый, за версту к себе мужиков-то не допускал. Тут в нашей губернии его сам царь посадил и велел править так, чтобы народу-то продыху не было.

Вот, значит, присылает губернатор к Санку гонцов, велит отдать кувшин, а за то сулит ему сто рублей. Этот-де диво-кувшин в царский дворец предоставим и всяких там французов удивлять будем.

Понятно, Санко деньги не принял и кувшин не отдал:

— Не для царя, не для буржуев старался. Без даровых рублей мы, мужики, веки-веков живем!

За такие вольные речи приказал губернатор Санка в кандалы заковать и в Сибирь на рудник отправить, а кувшин силой отнять.

И пропал бы, наверно, мастер, да наши же деревенские мужики успели губернаторских стражников опередить:

— Уходи, Санко, пока не поздно!

Он в ту же пору и скрылся. Унес с собой свой диво-кувшин, да и Стешку увел.

Дня два перебыли они в лесу, как раз подле того утеса, где Санко прежде Полуночицу видел. Не мог он решить, куда же все-таки дальше податься.

А потом уж Стешка его надоумила: давай, дескать, кувшин этот на утесе спрячем, все равно его на виду-то не сохранить, дознается губернатор, ну, а сами у заводчан поселимся, другое дело найдем, покуда неволя не кончится.

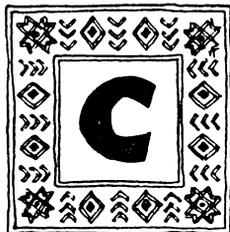
Так и уговорились. Поднялись они оба на утес, разыскали там выступ над самым обрывом, выдолбили пещеру и туда, в пещеру-то, диво-кувшин замуровали.

Но когда уже ушли они от утеса и с этим местом-то попрощались, тот старик-старатель, что лесными горными кладами ведает, снова объявился. Махнул полкой армяка вправо-влево, и поднялась у подножия утеса чащоба непроходимая.

Многие годы миновали, внуки и правнуки Санка успели собраться, а молва о дивном кувшине еще и теперь не умолкла. В народе-то называют его Полуночным дивом.

Каждую ночь, в ясную погоду, когда наступает самая глухая пора, вдруг вспыхивает на горном утесе тихое сияние, и останавливается тогда пеший ли, конный ли путник, и долго стоит зачарованный так, не веря глазам своим.

Аганя Бессонница



лучилось это в самую полночь у Черной речки, посреди болота, когда где-то в таловой чащобе широко сова кричала.

Как раз в это время лесник Варкуша с обхода домой на кордон возвращался.

Остановился он, послушал: тихо вокруг, все сонно, даже ветер улегся, только сова гомонит. Потом еще шум какой-то непонятный оттуда, из тальников, донесло. И стон. То ли птица, то ли человек в беде.

Подумал Варкуша: человеку в такую пору да в этаком месте взяться вроде бы неоткуда, до деревни почти десять верст. А и делать-то в тутошней глухомани нечего: возле речки ягоды не растут, грузди и грибы, кроме мухоморов, никогда не рождаются. Уж не зверек ли какой-то сову или иную птицу сграбастал? В лесной глухомани зверья полно, одно другого зубастее, что хорек, что ласка, что колонок, лиса рыжая, барсук, одичалая кошка. Ежели сова, то надо, пожалуй, выручить. Она, сова-то, уже многие годы возле речки в дупле старой ольхи гнездует, всех мышей вокруг кордона повывела, а не станет ее, так мыши небось опять почнут кордон разорять. Ну и свернул с тропы. Прошел сначала берегом Черной речки, над обрывом у большого омута, оттуда к болоту, в заросли чернотала. Дальше пришлось с кочки на кочку прыгать, чтобы в стоялую болотную воду не оступиться.

А за тальниками, в глубь болота, лабда раскинулась. И вот на лабде-то в темноте, при свете звезд, стало видать: лежит в осоке девушка, руками, ногами от коршуна отбивается, а коршун-то налетает на нее, крыльями бьет и клюет куда попадя! Выше над ними сова мечется, кричит и плачет, но близко к коршуну не подступает, — боится не совладать.

Сдернул Варкуша с плеча дробовик, прицелился. По лесу будто гром прокатился. Огнем из ружья, как молнией, осветило округу насквозь. С коршуна перья посыпались. Но самого его дробью не повредило, взвился он в поднебесье и из виду скрылся.

Поднял Варкуша девушку, вынес на руках к речке, дождался, когда она мало-помалу в себя пришла и сначала накормил ее хлебом, речной водой напоил, а потом уж спрашивать начал. Ты-де откуда родом, как тебя звать-величать, да пошто ночью в лесу очутилась? Та лишь еле-еле промолвила:

— Зовут Агафьей, а родом откуда — сама не знаю...

До утра просидел возле нее Варкуша. Когда над лесом забрестило, а туманы в лога уползли, подивился, какая же она ладная! Ни в одной из ближних деревень такую красоту днем с огнем не найти. Босая-то ножка ее вся на одну ладонь поместится. А лицо округлое, белорозовое, как цветок шипиги; глаза светлые, чистые, будто на том же цветке две капли росы ожили, темными ресницами прикрылись. И коса до пят, вниз по кофте, по сборкам сарафана, как солнышком пробитый, ветром вспененный ручеек стекает.

С трудом взор от нее отвел.

— Эх, Агания, что же теперича со мной-то будет?..

Проживал он на кордоне, сторожил казенные леса, а жениться-то, семью заводить ему прежде и на ум не шло. Смутился. Велика ли, дескать, радость без людей век в лесу вековать. Не пойдут невесты.

Обернулась к нему Агания, по волосам-то его рукой провела, добро улыбнулась, но ничего не сказала. А на кордоне, куда ее Варкуша привел, в избе и во дворе все прибрала, закопченную посуду почистила, обед сварила, одежду починила, да еще квашню замесила и свежих калачей напекла, каких Варкуша уже давным-давно не едал.

Поселил он ее в избе, а сам до поры до времени в сараюшке устроился.

Однако стал он замечать: ни днем, ни ночью Агания спать не ложится. Пока светло, травы разные по еланям собирает, а стемнеет — пряжу прядет и в клубки ее сматывает. Как-то он уж не выдержал и спросил:

— Где же ты, Аганюшка, куделю-то берешь, чтобы пряжу прядь? Поблизости от кордона никто ни лен, ни коноплю не сеет.

Показала она клубки. И вовсе они не из кудели спрядены. Всякая всячина собрана. Тут и пух из гнезд птичьих, ковыль, и какие-то шерстинки, как серебро. А один клубок из золотого гаруса свит.

— Только золото это не в горах копано, в здешних лесах собрано, — молвила Агания. — Горное-то мертвое и холодное, от него зло и горе людям, а в лесу оно живой жизнью рожденное...

Варкуша с малолетства тут в лесу вырос, все ложбинки и тропинки, угорки, уголья и урочища знал, а о том, что Агафья сказала, не слыхивал.

Но поверил. А иначе и быть не могло. Ведь вот погляди-ко: когда ранним утром солнышко с восхода подымется, то вся земля позолотой сияет. Мечет и сыплет солнышко золотую пыль пригоршнями. Падает она на деревья, на избы, на озера и реки, на травы полевые. И теплом своим согревает. Тогда все, все пробуждается, жить начинает. Потом выходят из своих норок пауки-крестовики, собирают

золотую пыль с листочков березовых, с иголок сосновых, с цветов разнотравных, да паутинки плетут между кустов и деревьев. Пчелы золотую-то пыль в мед кладут. В каждой капельке меда будто свое малюсенькое солнце играет. А осенью лесное золото хоть лопатой гребни. После первых же заморозков падают и падают с берез золотые листья. Лес будто расступается, становится реже, просторнее. И чуешь ты у себя под ногой, как падалик шуршит, но земля еще продолжает томиться под ним, согретая и обласканная, хотя уже стылый Сиверко налетает из-за каменных гор...

Удалось однажды Варкуше за Аганей подглядеть. Вернулся он на кордон с обхода лесов еще засветло, дома ее не застал, ну и направился искать. Боялся навсегда, как бы худа с ней не случилось.

Сидела Аганя в Песчаном распадке на поваленной грозой старой сосне, и вокруг по всему распадку мураши копошились, пауки-крестовики сновали, и все, как есть, таскали ей, кто что мог. Уж полная корзинка пуху и шерстинок набралась, а поверх платка, кинутого на пенек, целый моток гарусу из золотой паутины был приготовлен. Сама-то Аганя луговые цветки перебирала, укладывала их ковровым узором.

«Эге-ге! — подумал тогда Варкуша. — Неспроста это».

Но вечером, когда Аганя позвала его в избу ужинать, ни о чем попытаться не стал. Дескать, ладно уж, пусть она какую ей надо пряжу прядет и с мурашами, с пауками дружит, лишь бы кордон не покинула.

Так вот день да ночь — сутки прочь. Скоро время-то пролетело. Зима подступила. Замер лес, оголился, уснул. Лег повсюду снежный покров. В деревнях свадьбы люди справляли. И Варкуша уже много раз Аганю-то спрашивал: не пора ли нам тоже жениться? Неужто-де я хуже других парней? Ведь и хозяйство у меня справное, и силы-то во мне хоть отбавляй, и все-то, что в домашности нужно, умею своими руками делать. Но Аганя лишь понурится:

— Не могу я. Мной слово дадено...

А кому, не говорила. Кто у нее нареченный, не сказывала. И как прежде, ни днем, ни ночью спать не ложилась. Хоть бы вздремнула когда! Знай лишь робит да робит, кончит одно дело, тотчас другое начинает. Поставил ей Варкуша в избе, в переднем углу, кросна точеные. Приготовила она основу, кросна направила и села ткать. Только ткала-то не холсты, а опояски пуховые, золотым гарусом изукрашенные. И одна опояска на другую ничем не похожая. То по всей ее длине и ширине полевые цветы вытканы, то звезды в небе ночном, то зори весенние. Такие-то опояски лишь бы в праздник надевать, перед девками-невестами выбадриваться.

Унесла она их в деревню и мужикам раздарила. Потом новую основу завела, сызнова ткать принялась.

Между тем, в деревне из избы в избу молва пошла: в наших-де краях Аганя Бессонница объявилась, всем людям добра и удачи желает.

Донеслась молва до Варкуши. Упрекнул он Аганю:

— Чего же ты сразу-то, Аганюшка, мне о себе не сказала?

— Да ни к чему это,— Аганя ответила.— Мне и то совестно, как люди имя мое поминают.

Понял ее Варкуша. Он и сам добрыми делами не козырял. Удалось для кого-то сделать добро, человеку помочь, вот и хорошо. Себе от этого радость, ну и довольно!

Но Аганю полюбил крепче прежнего. Душу бы за нее отдал. В огонь кинулся. Море бы переплыл.

А все же виду ей не подал. Пусть-де сама решит, как быть: то ли просвататься, то ли дальше одной оставаться.

С тех пор часто выходил он из сараюшки во двор, подолгу в окошко избы смотрел, как Аганя узоры на опоясках выкладывает. Ночи стояли темные, а лучина перед кроснами горела ярко, и окошки-то ставнями не закрывали. Аганя, наверно, даже не догадывалась, что ему, Варкуше, тоже не спится. И не таилась ничуть. Иной раз перестанет ткать, руки опустит и вдруг запечалится. Со щеки слеза капнет. Шибко это было горестно смотреть, так бы и кинулся к ней, успокоил бы, однак Варкуша свой зарок соблюдал, набирался терпенья и ничем ее не тревожил.

В ночь под Новый год принес он ей из лесу елку, возле кросен поставил, порадовать хотел. Но Аганя что-то пугалась все: с раннего вечера окошки ставнями закрыла, от каждого шороха вздрагивала, и за кросна не садилась.

На всякий случай Варкуша ружье почистил и крупной дробью зарядил. Мало ли бывает чего? Может, Аганя какую-то беду чувствует. Ну и верно, вовремя изготовился. В самую полночь загремело на крыше избы. Тесовые доски, коими крыша крыта, как валежник сухой, затрещали. Потом ставни на окошках ходуном заходили. Будто град камней по ним барабанил.

— Это опять он,— закричала Аганя, да топор схватила и к дверям побежала.— Ну, не бывать тому, чего он хочет.

Варкуша успел ее остановить, сам с ружьем на крылечко выскочил. А на избе-то коршун сидит, когтями тес со стропил отрывает, клювом по бревнам долбит. Узнал его Варкуша. И тот его тоже узнал. Расправил крылья-то, зашипел и только наладился вниз, на Варкушу ринуться, как Варкуша из ружья по нему полыхнул. Но опять дробь коршуна не взяла.



Вот в ту ночь Аганя сама в первый раз Баркушу поцеловала, а потом ему и тайну свою поведала.

Вся-то тайна, что Аганя в лесу родилась, посреди бедных людей выросла. Спала-то не на перине, не на подушках пуховых, а на подстилке травяной, холодной водой из родника умывалась, жесткой холстиной утиралась.

А матери-то следить за ней, кормить-поить ее было недосуг. Овдовела она на второй год замужества и в богатых дворах батрачила. Вскоре опять замуж вышла. На богатство позарилась. Взял ее в жены старик, горный заводчик. Он литейное дело держал и большим капиталом ворочал. Все ближние и дальние деревни, все мастера-заводчане на него спину гнули. Никому супротив него слова молвить не позволялось. От мала до велика его боялись. Но пуще всего коршун на них страх нагонял. Держал его заводчик у себя в доме. Кажин день коршун-то этот над округой летал, доглядывал и высматривал, не сбежал ли кто, не затеял ли смуту, да обо всем хозяйину сообщал и по его велению потом расправу чинил. А перья у того коршуна были железные.

Закабалил старик и молодую вдову, а девчонку Аганю велел со двора прогнать. Приветили ее старухи деревенские. Одна пряжу прясть научила, другая на кроснах ткать. Дружбу с мурашами, с пауками-крестовиками да с совой Аганя сама завела. Но от забот и печалей спать перестала. В ту же пору зарок положила: все робить и робить, всяким премудростям научиться, покуда хоть чем-нибудь добрым людям помочь сумеет. За то и прозвали ее люди Бессонницей, мастерицей-рукодельницей, о добрых делах печальницей.

В лесах, в полях на каждом шагу диво! Вот цапли, жаворонки и реполовы высоко летают. К чему это? К хорошей погоде. Тоже к ясной погоде, ежели светляки ночью, как огоньки мельтешат, а шершни и осы до темноты летают во множестве. Но коли услышишь ты до восхода солнышка крик зяблика или увидишь, что куры в дорожной пыли купаются, то жди затажного ненастья. Весной чиби-сы и перепелки на высоких местах гнезда готовят,— значит, сырое лето предвидится. Перед холодной зимой мураши городища свои высокими строят. И от хвороб в лесах-то разных средств полно. Только против сухоты-ломоты семьдесят трав растут.

Конечно, обо всем этом Аганя поясняла людям и приносила им пользу, но нужда у них не убавлялась нисколько. Жили они позорнь друг от друга, потому-то и держал заводчик их в неволе.

Пожалобилась как-то Аганя сове:

— Дружбы им, людям-то, не хватает. Чтобы один за всех, все за одного. Но как пособить, ума не приложу...

Та целый день, сидя в дупле, думала, а ночью улетела куда-то,

но на рассвете вернулась обратно и подала Агане челнок, разными мудренными узорами изукрашенный.

— Вот, возьми! Чего загадаешь, то и получится...

Много-то говорить она не привыкла. Дальше Аганя уж сама догадалась.

Ну и начала тем челноком опояски ткать, а загадала, чтобы меж людьми дружба крепилась. Как мужик или заводчанин опояской-то опояшется, сразу сердце у него взиграет, взор прояснится, а душа согреется. И увидит он, кто им помыкает, а кто друг-товарищ! Все трудовые-то люди меж собой больше сроднятся и не один на один, но сообща, всем миром, почнут свою жизнь по-иному устраивать.

Узнал заводчик про опояски. Стали люди против него подыматься. Послал он коршуна разведать, откуда опояски берутся, кто их мужикам и заводчанам дарит. Выследил коршун Аганю, разметал, разбросал ту избенку, где она проживала, только до самой не добрался. Успела Аганя в лес убежать, до поры до времени в совином дупле спрятаться. А все же коршун опять ее разыскал и посреди болота, у Черной-то речки, чуть-чуть не покончил.

— Видно, опять уходить мне придется и прятаться,— сказала Аганя.— Он, коршун-то, не отступится. Приказал ему отчим мой меня разорвать, а челнок ему предоставить. Ведь натворит он людям новой беды, коли челноком завладеет.

Показала она Варкуше челнок-то. Штука вроде бы не мудрящая: два верхка длины, полверхка ширины, из елового корня точеная. Всего-то дела этим челноком меж основы нитку прокладывать, а поди ж ты, какую он загадку имеет. Знать, не простой человек его ладил...

— Никуда я тебя, Аганюшка, не отпущу,— ответил Варкуша.— Но и в обиду не дам.

— Не одолеть тебе, сквозь железные перья коршуна не достать.

— Попробую!

— В неволе останешься.

— Мне любовь к тебе крепость даст, а желание, как и у тебя, людям помочь, силы прибавит.

И немедля в путь-дорогу собрался.

Опоясала его Аганя опояской гарусной, потом вышла на крылечко избы, три раза в ладоши хлопнула. Явилась перед ней сова. И наказала она сове так:

— Вперед лети, моему милему путь кажи!

Перво-наперво он во всех ближних и дальних деревнях побывал, с мужиками уговорился, ежели, мол, коршун в их местах покажется, то ему, Варкуше, о нем сообщить.

Дальше привела Варкушу сова в горы, к рудознатцам и литейщикам, кои на заводчика робили. Обсказал он и им свою нужду, как-де с коршуном справиться, какой пулей его железные перья пробить. Посоветовались заводчане между собой и решили:

— Надо на Горюн-камень кого-то послать, особой руды добыть, да ту руду в печи переплавить. И уж тогда булатные пули отлить.

Так и сделали. Отлили для Варкуши пули булатные, зарядил он ими свое ружье.

А тем временем мужики гонца прислали, чтобы Варкуша поспешал, покуда коршун у себя в гнезде сидит, клюв точит и Аганю искать вновь готовится.

Гнездовал коршун у заводчика в саду, на высокой сосне. Заводчик его из своих рук кормил. Огорожен был сад решеткой чугунной. Во дворе свора псов, а ворота во двор замками заперты. Так что ни в сад, ни во двор ходу нет.

Все же Варкуша через решетку-то перелез, разыскал ту сосну, где на вершине коршуново гнездо было свито, и принялся ее топором под комель рубить. Услыхал коршун стук топора, заголосил там, зашипел, крылья расправил. Тут ему и конец пришел. Послал в него Варкуша из ружья пулю булатную, пролетела пуля через грудь насквозь, а перья-то железные жарким пламенем пыхнули. Второй пулей коршуну железный клюв оборвало. Еще громче закричал коршун, сорвался с гнезда, из последних сил над садом поднялся, помахал горящими-то крыльями и рухнул прямо на крышу того дома, где сам заводчик в горнице чай пил и горным золотом любовался. Обвалились потолки в доме, великим пожаром вся округа высветилась, а мало времени погода, остались от дома стены голые, от сада сосны горелые.

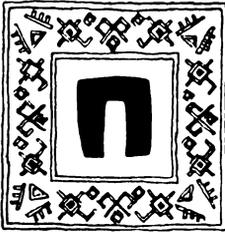
И поросло то место быльем. Даже имя заводчика никто не запомнил. Но зато Аганю Бессонницу люди много годов вспоминали, а дареные опояски передавали от одного поколения к другому, и опояскам-то ее не было сносу. Сама Аганя с Варкушей так и оставались в лесу, чтобы все, что в лесу родится, и дальше на пользу людям служило.

А уж потом стал Варкуша обдумывать, что бы такое со своим ружьем сделать — стрелять оно должно без осечки, без промаху и большую пробойную силу иметь.

Кто-то из мужиков надоумил к оружейникам наведаться.

Те слова против не молвили, в ту же пору все ружье наново перебрали, заменили старый курок, ствол проточили: хоть дробью, хоть пулей бей!

Заветная кольчуга



оследнего сына у Егора Бороны забрали в солдаты уж в шестнадцатом году на германскую войну. И остался Егор вдвоем со старухой. Через год все его хозяйство пришло в упадок. Сено на зиму не заготовили, так корову и овец пришлось угнать на базар, продать почти задарма. Да и самим стало нечем кормиться. До весны еще мало-помалу на картошке перебивались, а по талице пошел Егор к лавочнику Угрюму:

— Возьми меня, ваше степенство, в работники.

Оглядел его Угрюм — шибко отоцалый мужик. И старый, и голодный. Небось, хлеба съест больше, чем наработает. Не управится по двору. Работы ведь невпроворот: сеять и пахать, коней сторожить, навоз убирать, на мельницу ездить. Надо работнику-то день-деньской рук не покладать, ночей не спать. Ну и отказал напрочь.

Погоревал Егор и решил: как-нибудь да чем-нибудь до нового урожая дожить. Старуху-то послал на заозерную пустошь за диким чесноком и саранкой, а сам сунул топор за опояску и отправился в дальний лес берестяные туески ладить. Туески в любом дворе нужны — то под квас, то под сметану.

Дальние леса раскинулись вдоль дороги на Долматово. Справа неподалеку река Теча, слева Исеть, а тут окрест озерки, болота мочажные и меж ними сплошь березовые колки с подлеском. Место морошливое, пашен мало, но зато растут лесины как на подбор. Строевые. Одна другой выше. И есть березы старые. На два обхвата. Они уж в вышину-то не растут, а только вширь. В дуплах у них птицы гнездуют, а то и зверье. На комлях корье темное. Так что в дело они не годятся, лишь для дегтярного промысла и на дрова. Ну, а в непогоду под такой березой надежно, как в балагане: шатер густой, раскидистый, никакой дождь не пробьет.

Вот Егор-то и облюбовал одну из них. Разбил себе подле нее стан. Пока-де бересты надеру да пока заготовки сделаю, уже стемнеет, и придется в лесу ночевать.

Погрелся у костра, похлебку сварил, а потом дай-ко, думает, березовки испробую. В эту пору, когда талые воды еще не сошли, березовый сок славно бодрит, а сладость в нем сахарная.

Но портить строевую лесину стало жалко — она ведь на сруб сгодится, из таких лесин пятистенник поставить можно. Выбрал березу коряжистую, давно переросшую, корье с комля обтесал и подрубил, какой надо, колодец.

Поначалу-то соку хлынуло много, ядреного, духовитого, даже через край потоки по комлю слились. Егор успел всего лишь глоток отпить, как вдруг ни капельки не осталось. Подивился он: что-де за чомор, куда сок мог деваться? А уж разохотился после пробы: такую-то благодать негоже бросать! Ну, и подрубил колодец-то глубже, а там дупло! Внутри дерево оказалось все трухлявое и пустое.

— Только зря время провел,— укорил сам себя Егор и уже хотел было к другой березе отойти, но там, в дупле, что-то звякнуло и блеснуло.

Просунул он туда руку, пошарил и достал кольчугу стальную. Даже не поржавела она ничуть, сверкает на свету, будто ее только отковали и вычистили.

— Экое чудо! — молвил Егор.— Ведь березе небось годов триста, не то и больше. Поди-ко дознайся, кто и когда эту диковину припрятал в дупле...

Поглядел ближе находку — видать, большой мастер ее ковал. Стальные колечки маленькие, еле глазу заметные, а подобраны один к одному, как рыба чешуя. На вороте пластинка, и по ней отеканено: «Тому герою кольчуга дается, кто за свободу народа дерется».

— Значит, не по мне находка,— опять молвил Егор.— Вещь заветная. А я старик и дальше-то своей деревни нигде не бывал.

Ну, однако, взяло его любопытство. Развернул он кольчугу, на себя надел: велика ли по плечу да тяжела ли для носки?

И еще больше диву-то дался. Как молодой стал! Почуял в теле столь большую силу, впору хоть деревья с корнями из земли вырывать. Стариковские немощи куда-то девались. Повел он плечами, на радостях во весь голос гаркнул:

— Э-э-эх-ма-а!

Да чтобы силу испробовать, ударил кулаком по комлю.

Береза-то устояла, ничуть-ничего, даже не покачнулась, но лес вокруг зашумел, валежник затрещал, где-то разбуженная ночная птица ухнула, а из чащи вымахнул на всем скаку конь вороной, вздыбился возле стана и заиготал.

Егор попятился было, однако насмелился все же и за уздечку его схватил.

— Тпру-у, стой, непутевый!

Тот сразу присмирел. Помотал гривой, мордой к кольчуге сунулся, обнюхал ее и загарцевал, видно, доволен остался.

— Неужто и конь заветный? — снова подивился Егор.

Посмотрел у него зубы. Да-а, шибко давно живет он, может, сотню лет, может, две.

И тут пало на ум, что все это неспроста. Как бы, дескать, ошибки не вышло. Уж не Лешак ли подсунул кольчугу да воронным конем оборотился, чтобы надсмеяться над стариком, перепугать, а потом из лесу прогнать? Или не сбежал ли конь из другой деревни? Как тогда его хозяйну пояснить? Стыда не оберешься! Любой сосед осудит: вот-де Егор до чего с нуждой-то добился, на чужое добро позарился.

И не стал Егор долго думать, снял кольчугу, в душло ее кинул, а коня отпустил и поскорее домой убрался.

Рассказал обо всем старухе. Та и посоветовала к Дорофею сходить, поспрошать его. А этот Дорофей-то был в нашей деревне старик наидревнейший, даже когда, в кои годы родился не помнил, но из жизни знал многое. В молодости приходилось ему в Урале на демидовских заводах каталом робить, после того хаживать за вольные мысли на сибирской каторге в кандалах, и уж угомонился-то он да в деревне поселился, когда перевалило ему за век.

Впрочем и он не сразу, чего нужно, в памяти откопал. Молчал, щурился, на пальцах отсчитывал, пока добрался.

— Ведь вправду, Егор, находка твоя заветная. Еще прежние наши старики про эту кольчугу и воронка молву вели. С тех времен, как бывал в здешних местах Емельян Пугачев.

— Так то шибко давно было...

— Хорошее дело не забывается. Емельян с народным войском за свободу боролся. Вот за то трудовые люди и почитали его. Желали добра-здоровья. Кольчугу-то и коня для него приготовили. Чтобы скакал он на коне быстрее ветра, а через стальную кольчугу ни мечом, ни копьем, ни стрелой каленой, ни пулей свинцовой его не поранило. Конь-то был нарочито в Тургайской степи выхожен, особым клеймом помечен. Назначено было так: покуда клеймо не сойдет, то жить коню хоть десять веков, служить верно тому, кто кольчугой владеть станет. Ведь ковали ее самолучшие мастера-заводчане со всего Урала, сколько на ней колец, столько и мастеров было. А уж коли народная сила воедино слилась, то сносу ей нет и одолеть ее невозможно.

Посомневался Егор — то ли, дескать, это правда, то ли нет?

Дорофей между тем прослезился по-стариковски.

— Эх, не поспела тогда кольчуга ко времени! Пугачева царские каратели сцапали где-то под Оренбургом и вскоре казнили. Вот тогда пугачевцы и припрятали народный дар. Герои-де были и будут. Рано или поздно народ свободу в свои руки возьмет, и дар-то этот еще не раз пригодится...

Побыл Егор у Дорофея до вечера, много всякой всячины выслушал и собрался уходить, но тот снова его придержал.

— Погоди-ко! Значит, ведь твоя находка не зря...

— Пошто так?

— По то, что тогда же и уговор был: найдется-де кольчуга, и воронко явится, хоть старому, хоть малому, только накануне, как люди снова за свою свободу восстанут...

Не верилось все-таки. Всяко мозговал Егор, а не верилось. Царь, генералы, буржуи — эвон их сколько! Мужики же все на войну взяты. Так и порешил: ни кольчугу, ни коня из лесу не брать. Потом захворал надолго. Наступил уж семнадцатый год. И вот осенью докатилась до деревни весть: царская-де власть, как старая изба, вся рассыпалась. По российской земле, из края в край, революция совершилась. Народ за свою свободу восстал, а во главе у него Ленин!

Шибко охота было Егору свою находку в Москву доставить. Но хворь не отпускала. Зиму и лето на печи лежал да расстраивался, что желание не может исполнить. Такое время, а кольчуга и конь не у дел! Из деревни тоже послать некого — старики лишь и парнишки во дворах-то остались. Вскоре новая беда накатилась: тут, в наших краях, Колчак против Советской власти белые банды поднял. К Москве-то все пути-дороги оказались отрезанными — ни пройти, ни проехать. Уж только в девятнадцатом году Красная Армия все ж таки беляков одолела, сначала с горных мест вытурила, потом с боями погнала в Сибирь.

К той поре Егор оздоровел, наконец, в лес сходил, достал из дупла кольчугу, коня вороного в свой двор привел. Начал в путь собираться.

— Ты куда ладишься-то? — спросила старуха.

— Красным навстречу поеду.

Как раз дни стояли погожие. Лето в самом разгаре. На полях хлеба колосились. Травы на покосах поднялись густющие. В березовых колках груздей и ягод полным-полно народилось. Только бы робить, к зиме запасться, а не воевать.

— Однако совестью поступаться нельзя, — сказал Егор. — Смогу, так сам повоюю, а нет, кому другому коня и кольчугу отдам, но давний завет не порушу...

Ну, пока старуха пекла ему подорожники, а сам он коня почистил, перековал, уже свечерело. А эвон оттуда, со стороны каменных гор, гром прогремел. И началось: гремит, грохочет без останову.

Поглядел Егор — небо чистое, никаких тучек нет, грозе-то быть неоткуда, да и зарницы в сумерках нигде не играют.

Вышел он со двора на улицу, а тут ему навстречу, из гуменного переулка появился Антон Черемша. Мужик молодой, но уж по всей деревне известный. Он у нас тут первым председателем ревкома был выбран. А когда колчаковцы власть захватили, то Антон успел в

горы к партизанам уйти. Теперь показываться-то в деревне ему было опасно, богатые мужики, коим народная воля вчуже, могли его колчаковским стражникам выдать.

— Здорово живешь, дядя Егор! — поздоровался Черемша.

— А ты, однако, рисковый, Антон, — покачал Егор головой. — Ай-ай, рисковый! Чего не бережешь себя? Неминя, что ли какая пристигла?

— Большая неминя, дядя Егор. Поди-ко, слышишь гром-то?

— Слышу, но в толк не приму, откуда гремит и пошто зарниц не видать?

— Вот я и не утерпел, прибежал передать мужикам добрую весть, порадовать их: красные под Челябой колчаковцев напрочь разбили и остатки их гонят напрямик сюда. И то не гром гремит, а пушки стреляют. Чем можем, надо красным помочь!

Отложил Егор свой отъезд до утра, чтобы с другими мужиками и с Антоном быть заодно. А ночью в деревню целый полк колчаковцев нагрянул. С пушками, с пулеметами, с обозами. Красные-то им здорово жару поддали, подгоняли без продыху. Занял этот полк все улицы и переулки, колчаковцы начали по погребам шарить, дворы разорять, а первым делом бедняцкие избы жечь. Хуже волков озлобились.

Антон Черемша им в лапы попал.

Когда рассвело, вывели его беляки на церковную площадь, начали пытать и шомполами бить.

— Это тебе за Ленина...

— Это за Советскую власть...

— Это за то, что большевик ты...

— А это за все-про все...

Исполосовали мужика вдоль и поперек, живого места на теле не знатко, да еще требовать белый офицер начал:

— Укажи, какими дорогами лесными нам красных обойти?

Антон уж из последних сил на ноги поднялся да офицеру-то кулак показал.

— Вот тебе! Повстречаешься ежели, порубаю пополам! А иного ничего не дожدهшься. От Ленина, от народной свободы не отрекусь. Скорее смерть приму, чем измене поддамся.

Приказал офицер снова бить нещадно шомполами, нагайками, чем попадя. Уж полумертвого бросили. Еле-еле у Антона-то живинка осталась, как огарышек теплилась. Казнили бы, наверно, навовсе, но тут им самим шибко приспичило. Красные-то к околице подошли, их передовые части вдоль всей поскотинной загороди позиции заняли. С другого конца деревни партизаны свои заслоны поставили.

Заметались беляки по улицам: бежать дальше некуда. Кои-то из них погонны с себя посрывали, в канавы залегли, а те, что Анто-на пытали, кинулись прямо посередь улицы орудия ставить. Какой-то беляк на колокольню с пулеметом взобрался. Белый офицер велел попу в церкви молебен отслужить. Почуял, поди-ко, все равно несдоб-ровать, час последний в его жизни истек.

Тем временем Егор Борона успел Антона Черемшу с площади по-добрать и укрыл у себя во дворе.

Вдвоем со старухой мало-помалу его отходили, отварами лечеб-ных трав напоили, рапы от шомполов смазали барсучьим салом. Потом достал Егор из сундука кольчугу заветную, из пригона во-ронка за уздечку вывел.

— Назначаю тебе, Антон, мил-человек! А сам-то я по-стариков-ски пешком до красных дойду...

Надел кольчугу-то на него, расправил, и вот уже Антон весь жи-вой, невредимый перед ним стоит.

— Эх, дядя Егор, еще бы мне саблю вострую...

Удалой, молодой, любо посмотреть!

— Саблю от красных получишь,— сказал Егор, а напоследок наказ дал: — Бейся с врагами без устали. Но когда кончишь вое-вать, то спроси у людей, куда тебе кольчугу и коня предоставить. Я так думаю, что и Ленин это одобрит.

Благословили старики Антона Черемшу, как положено, хлебом и солью.

А воронко лихого седока под собой признал, заиготал во всю мощь, копытами об землю ударил, сверкнул глазами и тут же с ме-ста помчался. Через плетни черноталовые, через заплоты тесовые, как ветер полуночный!

Белый офицер увидел Антона на вороном коне, открыл по нему стрельбу. С колокольни пулемет застрочил. А конь вороной мчит, мчит лихого седока. Пули вокруг, как осы. Стреляют беляки со всех сторон. Но шлепаются пули под копыта коню, не то летят мимо и мимо. Сверкает кольчуга. Кто взглянет на нее, тот рукой глаза за-слоняет.

Догадался белый офицер — пули седока не берут, подбежал к орудиям, сам их на прямую наводку поставил. Загрохотали пушки, но снаряды тоже седока не задел.

Прискакал Антон к красному командиру, коня осадил.

— Дай мне саблю да сотню красных бойцов-всадников, мы за-раз белых покончим.

Командир останавливать боя не стал, но велел по всей позиции приказ передать, кто желает добровольцем вместе с партизаном Ан-тоном Черемшой в тыл к белым пробраться, орудия и пулеметы по-

давить, а коли придется, то и в рукопашной схватке силу испробовать? Вскоре за лесным угорком вся сотня добровольцев построилась. А красный командир с себя саблю снял и Антону подал:

— Потом вернешь, а себе в бою другую добудешь!

Принял Антон саблю, слез с седла, чтобы подпругу поправить, а воронко вздыбился перед ним и передним копытом по кольчуге ударил. Вдруг неожиданно-негаданно налетела из-за угорка туча, молния сверкнула, пролился над бойцами частой дождь. Оглянулся Антон, а вся его сотня в кольчугах, и такие же кольчуги-то, как у него, под солнцем блестят.

Уж не в обход, но прямо сквозь дым и огонь ворвалась сотня в деревню, по всем улицам, переулкам рассыпалась. Те беляки, что из орудий стреляли, сразу же в плен сдались. Остальные кинулись кто куда. А белый офицер попытался было из деревни удрать, но Антон Черемша его приметил, погнался и как раз напротив двора Егора Бороны догнал. У офицера тоже конь оказался резвым. Столкнулись кони, оба зайготали, взъярились. Седоки на стремянах поднялись. Первым изловчился офицер, со всего размаху рубанул Антона, и зазвенели сабли меж ними.

А Егор из окошка увидел это, стар не стар, выбежал на улицу, оглоблю схватил и хотел Антону помочь, но тот успел сам с офицером управиться: от плеча до поясницы его разрубил. Потом взял себе офицерскую саблю, а порожнего коня за уздечку поймал и тут же Егору из рук в руки передал:

— Вот тебе в хозяйстве подмога.

В тот же день Советская власть в нашей деревне снова установилась.

Наутро, чуть свет, красные ушли — эвон туда, на Долматово, на Шадрино, в кою сторону остатки недобитых колчаковцев бежали.

Доходила потом до нашей деревни людская молва, как боялись беляки с Антоном встречаться. Ни пуля горячая, ни сабля вострая его ничуть не брала. А перед каждым боем подымался его воронко на дыбы, бил копытом по кольчуге заветной, накатывалась туча, ударяла молния, дождь проливался, и сотни, а может, тыщи красных бойцов в такие же кольчуги одевались, и не было у тех бойцов ни страха, ни усталости. Но как кончилась война, кольчуги-то их снова гимнастерками стали.

Собрал тогда Антон Черемша всех своих боевых друзей-товарищей в круг, порешили они заветную кольчугу до поры до времени в горах на хранение оставить, а коня вороного в леса отпустить. Чтобы народный завет на веки веков содержался. Так ведь и Ленин велел, чтобы всегда люди были готовы, ежели кто-нибудь против народной свободы и счастья саблю подымет!

СОДЕРЖАНИЕ

Уральский фольклор и сказы С. И. Черепанова	3
Озеро синих гагар	9
Кострище у Зеленого лога	17
Про комиссара и белую птицу	27
Голос большого колокола	38
Первый землемер	46
Типун-трава	53
Анискин родник	63
Таловая дуда	70
Дедушкина песня	76
Золотая погибель	81
Мастер Еремей	84
Весёнушка	89
Вишневая гора	94
Лебедь-камень	98
Серебристая шкурка	106
Тимошкин сад	113
Снежный колос	123
Полуночное диво	128
Агания Бессонница	136
Заветная кольчуга	144

ЧЕРЕПАНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

ОЗЕРО СИННИХ ГАГАР

Уральские сказки и сказы.
Челябинск, Южно-Уральское кн. изд.,
1971 г. 151 с. Р2

Редактор М. Л. Срубщик
Художник Л. И. Заботин
Худож. редактор Я. Н. Мельник
Техн. редактор О. Я. Понятов-
ская.
Корректоры Н. В. Канищева и
Р. М. Цветкова

Сдано в набор 29/VII-1970 г. Подпи-
сано к печати 10/XI-1970 г. ФБ07674.
Формат бумаги 70 × 90/16 — 9,5 физ.
п. л., 11,1 усл. п. л., 9,97 уч.-изд. л.
Тираж 30 000 экз. Бумага № 2. Изд.
№ 2867. Южно-Уральское книжное
издательство, г. Челябинск, пл. Рево-
люции, 2. Областная типография Че-
ляб. обл. управления по печати,
г. Челябинск, ул. Творческая, 127.
Заказ № 2021. Цена 30 коп. Пере-
плет 19 коп.

491

ЮЖНО-УРАЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЧЕЛЯБИНСК-1971